

*Я помню его  
таким...*

**ВЛАДИМИР  
БУШИН**

# **НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛЖЕНИЦЫН**

**ГЕНИЙ ПЕРВОГО ПЛЕВКА...**

Я помню его таким...

Владимир Бушин

**Неизвестный Солженицын.  
Гений первого плевка**

«Алисторус»

2018

УДК 821.161.1.09 Солженицын А.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6 Солженицын А.

**Бушин В. С.**

Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка / В. С. Бушин —  
«Алисторус», 2018 — (Я помню его таким...)

ISBN 978-5-906914-96-5

Крупнейшие русские писатели, современники Александра Солженицына встретили его приход в литературу очень тепло, кое-кто даже восторженно. Но со временем отношение к нему резко изменилось. А. Твардовский, не жалевавший сил и стараний, чтобы напечатать в «Новом мире» никому не ведомого автора, потом в глаза говорил ему: «У вас нет ничего святого...» М. Шолохов, прочитав первую повесть литературного новичка, попросил Твардовского от его имени при случае расцеловать автора, а позднее писал о нем: «Какое-то болезненное бесстыдство...» То же самое можно сказать и об отношении к нему Л. Леонова, К. Симонова... Прочитав книгу одного из самых авторитетных публицистов нашего времени Владимира Бушина, лично знавшего писателя, вы поймете, чем пожертвовал Солженицын ради славы.

УДК 821.161.1.09 Солженицын А.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6 Солженицын А.

ISBN 978-5-906914-96-5

© Бушин В. С., 2018  
© Алисторус, 2018

## Содержание

Напутствие	6
Письмо из Рязани, отправленное в Москве	11
Капля в наводнении	13
В ожидании радости	17
Читатели видели зорче	19
Куда он хотел тянуть?	21
Лучшие сорта жизни	24
Солженицын и Достоевский	35
Фома Опискин и диалектика	39
И жизнь, и любовь, и смерть – по плану!	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# **Владимир Сергеевич Бушин**

## **Неизвестный Солженицын.**

### **Гений первого плевка...**

© В. Бушин, 2018

© ООО «ТД Алгоритм», 2018

\* \* \*

*Отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и  
в нужный момент плюнуть первым.*

*Александр Солженицын,  
академик, Нобелевский лауреат,  
кредо которого «жить не по лжи!»*

## Напутствие

### 1

Москва широко отметила восьмидесятилетие А.И. Солженицына. По телевидению было показано несколько фильмов-сериалов о юбиляре, в Театре на Таганке состоялась премьера спектакля по роману «В круге первом», в Большом зале консерватории и в Зале Чайковского прошли концерты-подарки живому классику, президент наловчился было повесить на шею писателю самый великий орден ельцинской эпохи, пронзительный спич об Александре Исаевиче произнес по тому же телевидению Эдвард Радзинский, всех россиян призвали читать и перечитывать его Альфред Кох и Борис Немцов, теплое слово сказал Григорий Явлинский, в газетах появилось множество статей и т. д.

Однако нам представляется, что в этих многочисленных акциях некоторые особенности уникальной личности и необыкновенного писателя, к сожалению, не были освещены с необходимой ясностью и полнотой. Движимые желанием восполнить досадный пробел, мы предлагаем вниманию читателей сей труд, посвященный знаменитому соотечественнику.

*Январь 1999 г.*

### 2

Есть в русском языке слова, термины, выражения, которые, казалось бы, всегда несут в себе только добрый смысл, только «положительный заряд». Во всяком случае, именно так многие воспринимают, например, слово «писатель» или выражение «властитель дум». Это обнаруживается, в частности, в тех случаях, когда тот или иной автор осуждает за что-то того или иного писателя и берет слово «писатель» в кавычки, желая этим сказать, что никакой, мол, он не писатель. Но это неверно. Нравится он нам или нет, хороший или плохой, талантливый или бесталаный, но если человек занимается литературным трудом, пишет книги, то он писатель, – хоть ты тресни! Это просто род занятий, профессия. То же самое можно сказать о выражении «властитель дум». В сборнике Н. Ашукина и М. Ашукиной «Крылатые слова» (М., 1966) о нем сказано: «В литературной речи оно применяется вообще к великим людям, деятельность которых оказала сильное влияние на умы их современников». Слово «великим» как бы содержит намек на положительный смысл выражения. Но ведь и само понятие «великий» неоднозначно. Более четкое, т. е. «нейтральное», «чистое», определение дано в 17-томном академическом Словаре русского литературного языка (М., 1951): «Властитель дум, сердец, настроений и т. п. – человек, привлечший к себе исключительное внимание современников, политический деятель, писатель, философ и т. п., оказавший большое влияние на общество». Тут ни о каком величии властителя не говорится, и правильно. В упомянутом словаре «Крылатые слова» утверждается, что выражение «властитель дум» восходит к строкам пушкинского стихотворения «К морю»:

О чем жалеть? Куда бы ныне  
Я путь беспечный устремил?  
Один предмет в морской пустыне  
Мою бы душу поразил.  
Одна скала, гробница славы...

Там погружались в хладный сон  
Воспоминанья величавы:  
Там угасал Наполеон.  
Там он почил среди мучений.  
И вслед за ним, как бури шум,  
Другой от нас умчался гений,  
Другой властитель наших дум...





Александр Исаевич Солженицын – писатель, публицист, общественный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии. 1970 г.



Другой, как известно, – Байрон. И если великий поэт, как властитель дум современников, вне сомнения, то можно ли так назвать и Наполеона? Ведь он вызывал не только восторги и похвалы, но и проклятия, презрение, насмешки. Чего стоит хотя бы один только его иронический образ в «Войне и мире» Толстого. Но даже ирония Толстого тут ничего не может изменить: бесспорно, Наполеон был властителем дум современников. Во время войны или вскоре после нее кто-то написал такую вот затейливо-каламбурную по рифме, но справедливую, по сути, эпиграмму на Пастернака:

Хоть ваш словарь невыносимо нов,  
Властитель дум не вы, но Симонов.

Да, именно Симонов во время войны был самым популярным поэтом, самым сильным властителем дум современников, особенно русской молодежи, несмотря на то, что покойный Леонов считал, будто «у него нет языка», а здравствующий Николай Дорошенко объявил его бесталанным евреем.

Эта книга вышла в серии «Властители дум», и речь в ней идет об Александре Солженицыне. Автор относится к своему герою гораздо менее терпимо, чем Толстой – к Наполеону, чем Дорошенко – к Симонову, но он признает, что Солженицына вполне можно считать властителем дум своего времени, ибо его сочинения были изданы огромными тиражами в России и во многих странах мира, о нем возникла целая литература, над созданием которой трудились и француз Жорж Нива, и русский Виктор Чалмаев, и английский еврей Михаил Геллер, и другие авторы. «Литературная газета» установила «Год Солженицына», в течение которого напечатала огромное количество хвалебных статей о нем, театры (даже Малый!) ставили инсценировки по его сочинениям, его избрали в Академию, наградили высшим орденом страны и т. д. В результате всего этого, как сказано в упомянутом словаре, он «оказал большое влияние на общество». более того, Солженицын явился родоначальником, толчком того нравственного обвала и разложения, той деградации общества, что ныне мы видим на родной земле. Если у читателя хватит терпения и мужества осилить эту книгу, то, думаю, он убедится в справедливости такой оценки.

*Сентябрь 2003*

### 3

Эта книга под разными названиями издается четвертый раз. Состав ее несколько менялся. Так, в первом издании был раздел об академике А.Д. Сахарове, который в последующие издания не вошел.

Книга сложилась из статей, публиковавшихся с 1992 года по 2008-й включительно в журналах, альманахах и газетах Москвы, Ленинграда, Воронежа, Омска, Красноярска.

Статейным происхождением книги объясняется наличие в ней разного рода повторов. Кого-то это будет раздражать. Я думал: хорошо бы их опустить. И кое-что убрал, но часто это нарушает цельность статьи, ставшей главой книги. Но, как правило, повторяются наиболее существенные фрагменты. Так, может быть, учитывая, сколь быстро в нынешней сумбурной жизни легко забываются даже самые важные события, имена, факты, может, и полезно кое-что повторять? Наконец, есть же песни, в которых после каждого куплета повторяется припев. Вот и считайте, читатель, что это припевы в моей длинной и, надеюсь, не слишком скучной песне о Солженицыне.

Все, за исключением трех глав в конце настоящего издания, печаталось в периодических изданиях и в книгах при жизни Солженицына, и он сам, и его довольно многочислен-

ные и пламенные почитатели, в частности, и весьма высокопоставленные, имели полную возможность ответить на критику – на что-то возразить, что-то опровергнуть, в чем-то уличить автора. Но писатель только один раз воспользовался такой прекрасной возможностью демократии. Когда он в 1994 году ехал из Владивостока в Москву, в Омске ему показали незадолго до этого опубликованную в газете «Омское время» мою статью «Загадка ареста Солженицына». И он, как мне сообщили тогда же, воскликнул: «Ах, Бушин! Я его давно знаю... Змея!.. Змея!..». Для плодотворной творческой дискуссии этого маловато. Тем более, что змеями, хамелеонами, скорпионами нобелевский лауреат именoval многих, очень многих нелюбезных ему литераторов. Кроме того, можно заметить, что когда-то помянутую змею он шибко нахваливал.

Не воспользовалась возможностью демократии и выдающаяся демократка Людмила Сараскина. В ее огромном сочинении «Александр Солженицын» (935 увесистых страниц!), вышедшем в этом году в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», не нашлось места ни для единого возражения или хотя бы замечания о моих публикациях, кишмя кишаших горчайшими упреками герою ее саги.

И уж совсем странно, что в биографическом словаре «Русские писатели XX века» (М., 2000), где о Солженицыне самая большая статья из всех, в приложенном перечне публикаций о писателе из моих работ не указана ни одна. А ведь это – «Научное издательство Большая российская энциклопедия». Перечислены публикации только почитателей: Г. Белль, В. Потопов, А. Немзер, Н. Левитская, Г. Фридлендер, П. Спиваковский, Г. Шурман, Д. Штурман... А вот как энциклопедически обошлись с Владимиром Лакшиным: статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги», в которой критик нахваливал и защищал писателя, указана, а статьи «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», где он давал отповедь наконец разгаданному гению, нет... В таком странном мире мы оказываемся сразу, как только прикасаемся к этому небывалому явлению – Солженицын.

*Октябрь 2008*

## Письмо из Рязани, отправленное в Москве

Утром 19 мая 1967 года, в пятницу, я получил по почте письмо – невзрачный бледно-желтый конверт. Мой адрес сиял на нем великолепной точностью и исчерпывающей полнотой, как жемчужная нить на шее простужки: тут и буквенно-цифровое обозначение почтового отделения (шестизначные индексы еще не были введены); и «ул.», поставленное, как полагается, перед названием улицы, а не после; и мое имя-отчество – целиком, безо всяких усечений. Адрес был напечатан на машинке, и выразительные возможности машинки использованы до конца: слово «Москва» отстукано большими буквами и вразрядку, моя фамилия – тоже вразрядку, но обычными буквами, а два слова, составляющие имя-отчество, размещены немного ниже так точно, что левее фамилии выступало пять букв (Влади...) и правее – тоже ровно пять букв (...евичу).

Эта тщательная обдуманность, дотошность, педантичность даже в написании адреса были мне хорошо знакомы, я уже знал, от кого письмо. Можно было и не смотреть на обратный адрес (он, конечно же, тут имелся, аккуратно отделенный от моего адреса темной чертой-отбивочкой), но я все-таки взглянул: «Рязань, 12, проезд Яблочкова, 1, кв. 11». Конечно, именно «проезд», а не «пр.», которое, чего доброго, кто-то примет за «переулок».

Да, адрес именно тот, что я и ожидал. Он был мне известен уже несколько лет, еще с тех пор, когда проезд Яблочкова назывался Первым Касимовским переулком. Зачем уничтожили хорошее и, видимо, географически целесообразное название (должно быть, по переулку пролегал путь в город Касимов), почему дали переулку имя не кого-то другого, а П.Н. Яблочкова, это, как нередко у нас, никому не известно. В самом деле, Яблочков вроде бы к Рязани и отношения никакого не имел: родился в Саратовской губернии, учился в Николаеве, в Петербурге, работал в том же Петербурге, в Москве, в Париже, умер в Саратове. Ну, правда, электрический свет, для усовершенствования которого Павел Николаевич так много сделал, в Рязани действительно наличествует.

Тогда в ответ на мое сочувствие по поводу переименования мой рязанский корреспондент писал мне: «Да, переименование улицы и меня не порадовало, но есть надежда переехать в другую квартиру: три года просил в Рязани<sup>1</sup> – не давали, тогда попросил в Москве – и кинулись давать в Рязани» (архив автора). Кинулись-то, может, и кинулись, да, видно, на пути что-то задержало: прошло уже больше года, а адрес – я видел теперь – оставался прежним. Это, естественно, вызвало сочувствие. еще бы, человек прошел всю войну, за справедливую критику Сталина отсидел восемь лет в лагерях, стал известным писателем, а у него нет достойной квартиры!

Были и другие причины для сочувствия: я считал в то время, что наши взгляды совпадают не только по вопросам топонимики. Правда, меня тогда несколько смутило, как неожиданно он отозвался на переименование Касимовского переулка: мол, не обрадовало, но я переезжаю на другую улицу. Выходит, лишь бы не жить мне на улице с неудачным названием, а что там в городе, что там на карте страны – не мое дело...

Я хотел было уже взрезать конверт, как вдруг заметил странную вещь: в обратном адресе имя адресата отсутствовало. Разве так случалось прежде? Никогда! Может, просто забыл? Ну! При его-то дотошности? Я пригляделся к почтовым штемпелям. Письмо отправлено вчера, 18 мая, в девять часов вечера, то есть чуть больше полусуток тому назад. И за это время оно пришло из Рязани? Темпы для нашей почты немыслимые. Да, но вот факт же... Впрочем, нет. Письмо, оказывается, опущено здесь, в Москве, на Центральном почтамте – там, надо думать, письма сортируются быстрее, чем где-либо. Словом, как видно, все сделано для того,

---

<sup>1</sup> Архив автора.

чтобы письмо я получил возможно скорее. Зачем? И почему же все-таки не стоит там, где ему положено стоять, имя? Для конспирации? С какой целью?..

Я взрезал конверт. В нем оказалось три листа, заполненных машинописным текстом, – два обыкновенных и один половинный. На этом половинном я прочитал:

«17.5.67

Уважаемый Владимир Сергеевич! Наша прошлая переписка побуждает меня послать это письмо и Вам».

Ах, вот оно что! Значит, это только «сопроводилка» к основному тексту. Я нетерпеливо заглянул в самое начало этого текста, там стояло:

«ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. (вместо выступления) В президиум съезда и делегатам – Членам ССП – БУШИНУ В.С. Редакциям литературных газет и журналов...» Ого, ничего себе размах! Сдерживая любопытство, я вернулся к «сопроводилке»: «Определю свое намерение искренне: пусть это письмо напомнит Вам, что и перед Вами в литературе (в жизни) стоит выбор и не бесконечно можно будет Вам его откладывать (как, мне кажется, вы пытаетесь). Желаю Вам – лучшего.

*Солженицын*<sup>2</sup>.

За машинописной подписью стояла хорошо знакомая короткая подпись, сделанная шариковой ручкой, – вся состоящая из острых углов и завитушек: АСолж. Письмецо в четыре с половиной строки вместило многое: и укор, и предостережение, и призыв, и упоминание о прошлом, и пожелание на будущее. Меня прежде всего остановили слова «наша прошлая переписка». Никогда раньше мне не приходило в голову окинуть ее единым взглядом и сделать из этого какой-то вывод. Я задумался. Наша переписка....

---

<sup>2</sup> Архив автора.

## Капля в наводнении

Подобно многим, я впервые услышал об Александре Солженицыне осенью 1962 года. По литературной Москве ходили слухи, что в журнале «Новый мир» вот-вот появится повесть, написанная сим дотоле совершенно безвестным человеком, что повесть посвящена тому, о чем тогда так много и горячо говорили, – злоупотреблениям властью, нарушениям законности во времена Сталина; что автор сам оказался жертвой этих злоупотреблений; что, наконец, небольшая вещь эта производит сильное впечатление. Повесть – она имела скучноватое название «Один день Ивана Денисовича» – действительно появилась в ноябрьской книжке журнала и вызвала наводнение хвалебных статей и рецензий.

У авторов этих статей и рецензий, как и у читателей, представление о А. Солженицыне складывалось тогда по его повести да по тому, что несколько позже он сам стал охотно говорить и писать о себе: боевой офицер-артиллерист, провоевавший всю войну командиром батареи; невинно пострадал за критику Сталина; был осужден и срок заключения отбывал в тяжелейших условиях, подобных тем, что описаны в повести; выйдя на свободу, стал пером писателя разоблачать былые нарушения законности и бороться со всяческой несправедливостью, – можно сказать, идеальный героический образ страдальца за правду и ее радателя. Ничего удивительного, что такой человек, такой писатель вызывал у многих и большой интерес, и искреннее сочувствие.

Все так. Однако нельзя сказать, что помянутое статейно-рецензионное наводнение было таким уж совершенно непредвиденным и необузданным стихийным явлением, как, например, петербургское наводнение, описанное Пушкиным в «Медном всаднике», где есть и такие строки:

Покойный царь еще Россией  
Со славой правил. На балкон  
Печален, смутен вышел он  
И молвил: «С Божией стихией  
Царям не совладать». Он сел  
И в думе, скорбными очами,  
На злое бедствие глядел...

Солженицынское литературно-критическое наводнение 1962–1963 года в значительной степени было – что неудивительно – плановым, и с иных высоких «балконов» на него смотрели не скорбными очами и не скорбными устами молвили оттуда, что в повести Солженицына правдиво освещается действительность, что такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку и т. п.

Я оказался малой каплей в этом гигантском наводнении: в мартовской книжке «Невы» за 1963 год появилась моя обширная и довольно равнодушная статья о повести. Вовсе не заказанная, она была целиком в духе восторгов того времени. Журнал со статьей послал Солженицыну в Рязань. В его ответе 27 мая 1963 года между прочим говорилось: «О Вашей статье я слышал от Сергея Алексеевича Воронина<sup>3</sup> еще в феврале. Саму статью прочел в прошлом месяце. Нахожу ее весьма интересной и очень разнообразно, убедительно аргументированной»<sup>4</sup>. Я, конечно, порадовался похвале большой знаменитости, хотя сам не был в таком уж

---

<sup>3</sup> С.А. Воронин был в ту пору главным редактором «Невы». – В. Б.

<sup>4</sup> Архив автора.

восторге от статьи, и 4 февраля 1964 года писал Солженицыну, что в ней «по-моему, преобладают эмоции», что она лишь «в какой-то степени удалась мне»<sup>5</sup>.

Но находились люди, которые в отличие от автора повести и от меня самого считали мою статью вообще неудачной, даже вредной. Так, редакция «Невы» и я сам получили несколько писем-протестов. Вот одно из них.

«Ленинград. Д-63  
Невский, 3  
Отдел литературной критики  
журнала «Нева».  
«Уважаемая редакция!

В вашем журнале № 3 за 1963 г. напечатана статья В. Бушина «Насущный хлеб правды». Я бы хотел, чтобы вы передали это письмо Бушину. Я не критик, но хотел бы от имени читателей несколько слов сказать по поводу повести Солженицына. Правда, это немножко нескромно говорить так «от имени читателей», но я говорил со многими, и мнение у всех или почти у всех сходно с моим.

Я ничего не нашел в этой повести. Ваша объемистая статья, при всем Вашем желании хоть что-нибудь найти в Шухове (в главном герое. – В.Б.) тоже не помогла. Зачем из кожи вон лезть и доказывать то, чего на самом деле нет?

Не буду голословным. У меня есть брат. Он провоявал всю войну от первого до последнего дня войны стрелком-радистом, летал с известным Полбиным<sup>6</sup>, ныне покойным. Он много видел и пережил. Он пишет, правда, никуда ничего не посылал. По-моему, у него получается. По ряду причин – судьба трагическая – сейчас он в тюрьме. Но он остался даже там коммунистом – это я могу сказать с чистой совестью. Я сам коммунист. И вот почитайте, что он пишет, я передаю дословно: «Поговорим о другом. Первым долгом отвечу на несколько твоих вопросов. «Один день Ивана Денисовича» я, конечно, читал<sup>7</sup>. Нашумевшей книгой разочарован донельзя. Что в ней полезного, показательного? Ничего. Солженицын показал своего Ивана Денисовича борющимся за миску баланды и кусок хлеба. Безусловно, дума о хлебе насущном в таких условиях вполне закономерна и показать, рассказать о ней нужно, но разве в этом суть дела... Истина этой величайшей трагедии познается позже: есть люди, которые над этим упорно, кропотливо трудятся». А Вы, тов. Бушин, начали искать «толстовские и каратаевские нотки» вместе с Чичеровым<sup>8</sup>. Действительно, нашли что заметить. Я не виню Солженицына, человек написал как смог и то, что видел со своей колокольни, но зачем же шуметь об этом. Не стоит. Я хотел бы, если Вас это не затруднит, ответить мне и дать адрес Солженицына. Я бы ему кое-что отправил из написанного братом. О тюрьмах, культе там речи нет, он пишет о своих однополчанах.

*С уважением Ильин Станислав Сергеевич.*

6.07.63.

Киевская область, г. Борисполь, в/ч 10201».

---

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Полбин И.С. (1905–1945), генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Погиб в бою.

<sup>7</sup> Интересно сопоставить это с заявлением А. Солженицына, сделанным на заседании секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года: «Моей книги («Один день Ивана Денисовича») не дают читать в лагерях, ее не пропускали в лагеря, изымали обысками» (Солженицын А.И. Собр. соч. в 6 томах. Франкфурт-на-Майне, издательство «Посев». 1973, т. 6, с. 71).

<sup>8</sup> Имеется в виду статья покойного критика И.И. Чичерова об «Одном дне Ивана Денисовича» (Московская правда, 8.12.1962), с которой я полемизировал в «Неве». – В. Б.

Я не ответил тогда на письмо С.С. Ильина, как и на другие подобные письма. Очевидно, главная причина этого состояла в моем решительном несогласии с зачеркиванием повести и в нежелании спорить по столь очевидному для меня вопросу. И сейчас, спустя много лет, я не согласен с зачеркиванием «Одного дня», но как было не прислушаться к предостережениям насчет излишнего шума!..

В издательстве «Художественная литература» о моей статье думали совсем иначе, чем С.С. Ильин. Там решили включить ее в ежегодный критический сборник о наиболее примечательных новинках советской литературы. еще бы! Ведь она оказалась замеченной «Литературной газетой». В большой статье «Гражданином быть обязан...», опубликованной на ее страницах, критик Лина Иванова высветила и процитировала то место статьи, где у меня весьма критически говорилось о главном герое повести: «Я хочу обратить внимание на тот печальный факт, что Шухов, человек богатых душевных возможностей, ведь все-таки в лагере кое с чем примирился, кое-что утерял. Одни критики писали об этом как-то глухо, будто стыдливо, хотя стыдиться тут нечего, надо разобраться. Другие утверждают даже, что Шухов-де «ни в чем нравственно не уступил». Это не так...

Писатель говорит, что Шухов уж и сам не знал, «хотел он воли или нет».

Приняв мою сторону в споре о главном герое, газета удовлетворенно заключала: «Серьезная озабоченность воспитанием гражданского самосознания в нашем современнике видна в выступлении В. Бушина»<sup>9</sup>. Разумеется, такая оценка не могла не споспешествовать издательскому успеху моей статьи. Более того, в «Новом мире» к тому времени появились другие произведения А. Солженицына, и в издательстве мне предложили дополнить мою «невскую» статью рассмотрением их, т. е. сказать некое обобщающее критическое слово о всем опубликованном в целом. Я охотно согласился, и в итоге у меня получилась весьма пространный работа.

Я сдал статью и укатил на юг в отпуск. Когда через месяц возвратился, то сразу после ласкового солнышка попал под ледяной душ: мой редактор Александр Коган<sup>10</sup> сообщил мне, что директор издательства В.А. Косолапов выбросил мою статью из сборника, сославшись на соответствующее указание высоких инстанций. «Но я думаю, – стеснительно улыбнувшись, сказал он, – никаких указаний не было».

Мой многоопытный редактор дал мне совет позвонить тому самому лицу в ЦК, на которого директор издательства кивал как на запретителя моей статьи, – Д.А. Поликарпову. Совет был дерзкий, но я позвонил.

Позже Солженицын назовет ныне давно покойного Поликарпова «главным душителем литературы и искусства»<sup>11</sup>. Так вот, когда «главный душитель» услышал от меня, что кто-то не желает печатать мою хвалебную статью о Солженицыне да при этом еще кивает на него, «душителя», он был взбешен. Долго шумел в трубке, ругался, негодовал, а кончил тем, что предложил мне немедленно написать докладную записку на директора издательства. Я поблагодарил его, однако, не желая скандала, докладную писать не стал.

Но все-таки что же мне было делать со статьей? Предложить ее в какой-то московский журнал я не решался, так как приблизительно на треть она уже опубликована в «Неве». Немного подумав, я послал ее в воронежский «Подъем», где тогда довольно часто печатался.

---

<sup>9</sup> Литературная газета, 14.05.1963 г., с. 3.

<sup>10</sup> Далее я в иных случаях позволю себе не называть имена некоторых лиц или буду ограничиваться их инициалами. Это объясняется главным образом тем, что А. Солженицын вначале предстал перед нами в одном облике, а позже – совсем в ином, отношение к нему, естественно, менялось, и было бы, конечно, несправедливо теперь предъявлять к кому-либо претензии за изначальное, давнее отношение к нему. В других немногочисленных случаях умолчания полных имен я надеюсь на деликатное понимание читателя. – В. Б.

<sup>11</sup> Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. YMCA-PRESS, Paris, 1975, с. 71. В дальнейшем – «Теленок».



В пятом номере за сентябрь-октябрь 1963 года она там, наконец, и увидела свет благодаря содействию Анатолия Жигулина.

## В ожидании радости

И на сей раз мое выступление оказалось замеченным. В частности, та же «Литературная газета» в редакционной статье «Пафос утверждения, острота споров» опять поощрительно писала, что у меня «рассматриваются как сильные, так и слабые стороны творчества писателя. Критик, решительно споря с концепцией «праведничества», проявившейся в рассказе «Матренин двор», ратует за подлинных героев, героев-борцов, не склонных смиряться с несправедливостью и злом. «Без них-то и не стоит село. Ни город, ни вся земля»<sup>12</sup>. Да, этими словами заканчивалась моя статья, и ратовать-то я ратовал, но мое выступление не было неким объективно-беспристрастным, логически-безупречным и взвешенно-безукоризненно-мудрым анализом, как это можно понять из статьи «Литературной газеты». Нет, хотя я и не мог сказать вместе с критиком Владимиром Лакшиным, что «выдающийся талант автора был принят мной сразу, без оговорок и целиком»<sup>13</sup>, хотя у меня даже нашел место спор с писателем по некоторым вопросам, но в целом похвалы сильно преобладали над несогласием и критикой.

Сам Солженицын понял это лучше газеты. В его письме от 2 января 1964 года я читал: «Хвалить того критика, который хвалит тебя, – это звучит как-то по-крыловски. Тем не менее должен сказать, что эта Ваша статья кажется мне очень глубокой и серьезной – именно на том уровне она написана, на котором только и имеет смысл критическая литература. Особенно интересен и содержит много меткого раздел о «Кречетовке»<sup>14</sup>. Жаль, что из-за тиража журнала его мало кто прочтет. «...»

Много интересного и для нашей литературы полезного в том, что Вы пишете, противопоставляя «эстетику песчинок» и «эстетику самородков»... и т. д. Между тем в январе 1964 года газеты опубликовали список произведений, выдвинутых на Ленинскую премию. Список был довольно обширным. Здесь стояли рядом новые произведения писателей разных республик: Айбека, Ашота Гарнакерыяна, Олеся Гончара, Георгия Гулиа, Мирзы Ибрагимова, Егора Исаева, Кайсына Кулиева, Леонида Мартынова, Ивана Мележа, Леонида Первомайского, Василия Пескова, Бориса Полевого, Бориса Ручьева, Галины Серебряковой, Сергея Смирнова, Назыма Хикмета, Александра Чаковского. В этом списке красовалась и повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Почему-то никто не посчитал тогда странным, что в числе тех, кто выдвинул повесть на премию, помимо Центрального литературного архива (ЦГАЛИ), оказался и журнал «Новый мир», опубликовавший повесть. Выдвигал на премию, так сказать, собственную продукцию. Посмотрите, мол, что за прелесть мы напечатали – за это непременно надо премию!

Вскоре после появления помянутого перечня я написал для Агентства печати «Новости» обзорную статью о произведениях, выдвинутых на премию. Естественно, что о повести «Один день» в статье говорилось весьма одобрительно. О ее авторе там можно было прочитать, в частности, и такое: «Мне представляется чрезвычайно интересным и характерным (для литературы того времени. – В.Б.), что даже Александр Солженицын, который, казалось бы, прочнее, чем кто-либо другой, зарекомендовал себя «поэтом буден», причем буден не «прекрасных и ясных», а трудных, сложных, мучительных, Солженицын отнюдь не считает это «амплуа» навсегда для себя предопределенным». В доказательство я ссылался на следующие его слова в одном из писем ко мне: «Нам надо учиться видеть красоту обыденного. Но если говорить совершенно общо, я бы заметил, что иногда материал подсказывает искать истину не через обыденное, а через самое яркое и даже ни на что не похожее, исключительное». Разумеется, это

---

<sup>12</sup> Литературная газета, 12.XII.1963 г.

<sup>13</sup> Лакшин В. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // Альманах «XX век». Лондон, 1976. С. 153.

<sup>14</sup> Имеется в виду рассказ «Случай на станции Кречетовка». – В. Б.

так. И я делал вывод: «Думается, в этом заявлении залог радостных неожиданностей, которые мы можем ожидать от интересного писателя». Неожиданности вскоре и последовали, правда – не шибко радостные.

Вполне возможно, что, рассуждая об исключительном в литературе, мой корреспондент держал в уме повесть «Раковый корпус», над которой он тогда работал: там он действительно «искал истину» через совершенно исключительное – через палату обреченных на смерть раковых больных. Знать об этих «поисках» я, конечно, не мог.

## Читатели видели зорче

Мою статью напечатали многие газеты – от «Правды Севера» (Архангельск) до «Новороссийского рабочего», от «Орловской правды» до «Правды Бурятии».

И я опять получил несколько несогласных и даже протестующих писем. Вот одно из них с некоторыми сокращениями:

«Москва, Информационное агентство АПН,  
литературному критику Вл. БУШИНУ.

Уважаемый товарищ Бушин!

Не знаем Вашего точного адреса и пишем это письмо в агентство АПН – в надежде, что московские связисты доставят письмо и оно попадет лично Вам.

Лично я и мои товарищи, любители русской литературы, уважающие ее за боевой и воспитательный характер, за персонажей и героев произведений, у которых можно поучиться нам, простым читателям, – не можем согласиться с такой высокой оценкой повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», включенной в число лучших произведений советской литературы 1963 года.

По простоте душевной нам думалось, что присуждение высшей награды – Ленинской премии – дается за действительно идейно и художественно самые зрелые и совершенные произведения, за такие, которые имеют большое воспитательное значение для нашего поколения – для молодежи, для которой и пишутся и печатаются все книги. Но разве повесть А. Солженицына является действительно таким произведением? Разве повесть эта обогащает нашу советскую литературу?.. Словом, у нас возникло много вопросов, связанных с неправомерным выдвижением повести А. Солженицына на высшую награду.

Мы никак не можем согласиться с таким «перехваливанием» этой повести, имевшей разовое значение, на шумевшей именно в период увлечения нашей интеллигенции критикой «культ Сталина».

В момент появления повести известный поэт А. Твардовский расценил ее новым «шедевром» советской прозы, а за ним начали так перехваливать эту повесть, сделали из нее «сенсацию», что многие читатели хотели сами в ней разобраться и расхватавали журнал «Новый мир» и «Роман-газету». А люди, так или иначе обиженные и пострадавшие, кричали истошно: «Мы же говорили, что правды не было и теперь нет!» Повесть оживила антисоветские элементы и давала оправдание чуждых нам взглядов. Это было вначале именно так!

Но советские читатели самостоятельно разобрались в содержании этой «сенсационной» повести и не нашли в ней положительного и воспитательного значения, а теперь ее уже перестали читать, а перечитывать едва ли кто будет. Теперь в библиотеках уже повесть почти не спрашивают. Время «сенсации» на критику Сталина прошло или почти проходит. Ведь люди убедились, что нельзя же до без конца сваливать все наши непорядки на «культ Сталина». Надо же и самим отвечать. Вот почему никакое новое «восхваление» этой повести не возродит ее незаслуженную славу. Успех повести носит случайный характер, она не обогащает нашу литературу. Таково соображение рабочих читателей этой повести. Рабочий Виктор Иванов из Мелитополя в письме, опубликованном 29 декабря (1963 года. – В.Б.) в «Известиях», развенчал досужих критиков, которые возвели героя повести Ивана Денисовича в ранг «народных героев», и показал, что этот «герой» не олицетворяет советского человека. Другая заметка рабочего из Таллина товарища Молчанова (напечатана в «Литгазете») тоже утверждает, что главный герой и вся повесть не имеют того значения, какое критики приписывают этому произведению.

Эти мысли читателей правильные, но ведь попали в печать пока только единицы таких отрицательных отзывов: печатаются только положительные отзывы (вроде Вашего расхваливания повести). Мы от группы десятка читателей писали отзывы в несколько газет, но нам даже не отвечают. Почему?

...А между тем теперь журнал «Новый мир», чтобы оправдать печатание повести, и особенно его редактор А. Твардовский снова непомерно расхваливают повесть. Даже на симпозиуме в Ленинграде (судим по печати) непомерно расхваливал повесть и ставил ее в один ряд с трудами Льва Толстого. А критики тоже продолжают такое перехваливание и не хотят считаться с большинством читателей, особенно из среды трудовой и рабочей. Прямо для нас это удивительно! «Анна Каренина» и «Матренин двор» А. Солженицына! Нас все это не только удивляет, но и приводит к мысли, что среди нашей интеллигенции продолжает царить «корпоративный дух». Это весьма печально, что голоса читателей публикуются только те, в которых выражены похвальные отзывы, и не печатаются такие, которые идут вразрез с «авторитетами», например, с перехвалившим повесть поэтом Твардовским. Даже агентство АПН (Вы выступате от его имени) не хочет дать неллицеприятную критику и оценку и без всякого учета настроений и оценок читателей – непомерно хвалит повесть!.. Уму непостижимо!!! Может быть, Вы ответите нам?

*С уважением к Вам, И. Чебунин.*

Архангельск, ул. Карла Либкнехта, дом 19, кв. 9».

Как нетрудно видеть, главное в письме – протест против односторонней перехваливающей оценки повести и против невозможности высказать публично, в печати, иной взгляд на нее. В этом мой корреспондент был совершенно прав. Странно допустить, что из критиков и писателей, хваливших повесть, я лишь один получал подобные письма. Конечно же, наверняка получали и другие, но выхода в печать они долго не имели почти никакого.

## Куда он хотел тянуть?

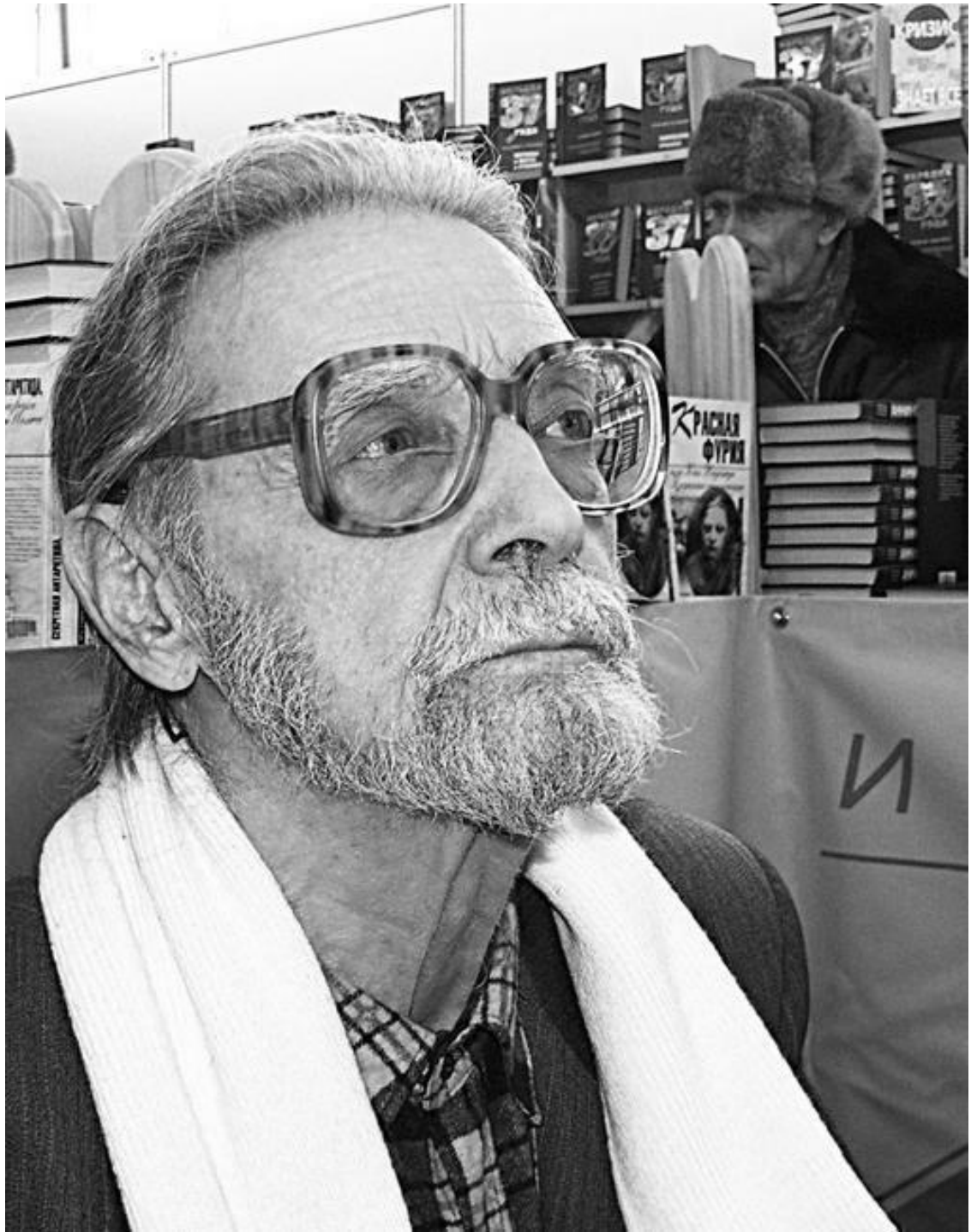
...А время шло. Мы продолжали иногда обмениваться письмами, делились разного рода литературными и житейскими впечатлениями. При этом не обходилось без взаимных похвал, поощрений и даже маленьких подарков. Так, в письме от 4 февраля 1964 года, дабы рассеять кое-какие недоумения, возникшие у Солженицына, я сообщал ему некоторые биографические сведения о себе, в частности, писал, что изрядную часть детства провел в Тульской области, в деревне Рыльское, на Непрядве, верстах в двенадцати от Куликова поля. Он ответил мне 8 марта, вложив в конверт небольшой самодельный снимок Куликовского столпа, и писал: «Если вы – с поля Куликова, то вкладываемый снимок кое о чем скажет Вам. Мы были там прошлым летом на велосипедах. Очень много впечатлений и мыслей, я даже хотел кое о чем написать, да негоже мне сейчас печатать путевые заметки»<sup>15</sup>.

В конце письма он меня подбадривал: «Со статьями Вас, я вижу, немножко подзадерживают. Но ведь, Владимир Сергеевич, физика учит, что на тех путях, где нет сопротивления, – не совершается и работа»<sup>16</sup>. Это, конечно, воистину так, но о путях, которые тогда уже твердо запланировал себе мой корреспондент, я разумеется, и не подозревал.

---

<sup>15</sup> Архив автора.

<sup>16</sup> Там же.



Владимир Сергеевич Бушин – советский и российский писатель, литературный критик, член союза писателей СССР

В другой раз я послал ему свою книжечку, он мне – «Один день». В декабре 1965 года решил поздравить его с наступающим Новым годом и высказать праздничные пожелания. Он ответил только 26 февраля 1966 года, и, объяснив такую задержку долгим отсутствием в Рязани, писал: «Спасибо. Трудно надеяться, что пожелания Ваши сбудутся, однако потянем как-нибудь». В какую сторону он намерен был «тянуть», я об этом тогда тоже, понятное дело,



не догадывался. В заключительных строках он снова подбадривал меня и поощрял: «Слышал о Вашем выступлении по ленинградскому телевидению. Вас хвалят. Рад за Вас»<sup>17</sup>.

Наконец, 16 ноября 1966 года на обсуждении в Московской писательской организации солженицынского романа «Раковый корпус» мы познакомились и воочию. Позже встречались еще. И вот 19 мая 1967 года я читаю и снова перечитываю: «...и перед Вами стоит выбор... и не бесконечно можно будет Вам его откладывать... Желаю Вам – лучшего...» Он всегда категорически желал мне «лучшего», видимо, стремясь дать понять, что горько сожалеет о том «худшем», в котором я прозябал. Даря в марте 1964 года свою повесть «Один день Ивана Денисовича», начертал на обложке: «Критику Владимиру Бушину с надеждой на все лучшее, что в нем есть и будет». Сейчас, как можно было понять, лучшее для меня состояло в том, чтобы перестать тянуть волынку и сделать же, наконец, тот замечательный выбор, который сам Солженицын, как потом оказалось, сделал уже давно, т. е. последовать за ним. Он лучше меня знал, что для меня лучше.

---

<sup>17</sup> Архив автора. Это было не мое персональное выступление, а коллективная передача, состоявшаяся в один из самых первых дней января 1966 года. Вел ее академик Д.С. Лихачев, а участие принимали писатели Москвы и Ленинграда: покойные Л.В. Успенский, В.А. Солоухин, О.В. Волков, а также В.С. Бахтин, В.В. Иванов и я. Все мы вели речь о сбережении национальных культурных ценностей. Мне, например, незадолго до этого довелось опубликовать в «Литературной газете» статью «Кому мешал Теплый переулок?», где я довольно резко ставил вопрос о недопустимости много лет бушующего у нас топонимического волюнтаризма – о недопустимости его не только с точек зрения житейско-бытовой, почтово-транспортной и административной (об этом и раньше писали много), но и с точек зрения культурно-исторической, государственно-национальной. Статья эта вызвала многочисленные и весьма живые отклики. В выступлении по телевидению я развивал те же мысли. Подробнее об этом выступлении рассказано в моей книге «Окаянные годы». – В. Б.

## Лучшие сорта жизни

19 мая, как уже сказано, была пятница, а по пятницам в редакцию журнала «Дружба народов», где тогда работал, мне позволялось не ходить. Скорее всего в понедельник, 22 мая, ко мне зашел в мой редакционный кабинетик поэт Наум Коржавин, которого я знал с далеких литинститутских времен еще Эмкой Манделем, и предложил подписать коллективное письмо в адрес Президиума скорого съезда писателей. Я подписал. В письме предлагалось обсудить то самое послание Солженицына, которое я уже получил с помянутой сопроводителькой.

Да, прискорбные факты в нашей многоликой литературной жизни, конечно, случались, горькие дела были, но в письме Солженицына плотным косяком шли главным образом лживые вымыслы о ней. Доводы против них, как говорится, не лежали на поверхности, а требовали поиска, наведения справок, сопоставления фактов, размышлений. Одни проделать такую аналитическую работу были неспособны, другие просто не хотели. Тем более что ведь и в голову не могло прийти усомниться в правдивости человека, который тут же, в этом письме, называл себя «всю войну провоевавшим командиром батареи», о котором авторитетные люди писали как о невинной жертве произвола.

И вот в какое возбужденное состояние привели именно эти слова молодого и темпераментного Георгия Владимова, который тоже получил письмо и теперь писал съезду: «Гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну... Это происходит на пятидесятом году РЕВОЛЮЦИИ... Я хочу спросить полномочный съезд – нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев?» Мне лично не было необходимости обращаться к съезду для разрешения вопроса о моей нации, но – зная, где гении, я недостаточно был осведомлен о подонках, шептунах и стукачах. Именно поэтому-то отчасти и подписал я письмо, принесенное мне Коржавиным 22 мая 1967 года.

Однако, с другой стороны, в письме Солженицына встречались и утверждения, в правильности, справедливости которых не мог сомневаться даже самый недоверчивый человек. Так, умело играя на неповоротливости наших издателей, автор с большим пафосом возмущался прискорбным фактом длительного неиздания у нас Мандельштама, Пильняка, Волошина, Клюева, Ремизова, Гумилева и уверенно заявлял, что они «неотвратимо стоят в очереди». Время показало, какой ловкий это был ход: в последующие годы действительно вышли сборники и Мандельштама (1975), и Пильняка (1976), и Волошина (1977), и Клюева (1977), и Ремизова (1978), и вот впервые после 1935 года издали «Петербург» Белого (1979), и скоро мы перестали платить по пятьсот рублей за парижские и вашингтонские издания Гумилева, который не выходил у нас с 1925 года.

Иные читатели солженицынского письма воспринимали его, вероятно, так: автор, бесспорно, прав в отношении Мандельштама, Гумилева и других, следовательно, столь храбрый и честный человек, он прав и во всем остальном. Эти люди не знали того, что, конечно же, прекрасно знал автор письма: лучшие сорта лжи фабрикуются из полуправды.

Я же считал, что обсудить письмо, как это предлагалось в том обращении к съезду, которое принес мне Коржавин, вовсе не значило принять все его идеи и требования. Главным у Солженицына было требование «добиться упразднения всякой цензуры». Ленинградский писатель Виктор Конецкий, которому автор тоже направил свое послание, писал в адрес Президиума съезда, возражая на помянутое категорическое требование: «Во всех государствах при всех режимах, во все века была и необходима еще будет и военная, и экономическая, и нравственная (порнография) цензура». Надо думать, среди делегатов съезда оказалось бы достаточно писателей, которые тоже нашли бы веские возражения как по этому, так и по другим пунктам письма. Словом, в ходе коллективного обсуждения обнаружились бы достопамятные свойства

солженицынского демарша. Увы, у руководства Союза писателей и у таких его опекунов в ЦК, как А. Яковлев, не хватило ни смелости, ни сообразительности пойти на это.

Правда, тогда многое еще никак не могло обнаружиться даже при самом активном обсуждении. Так, на съезде не могло обнаружиться, что за словами «всю войну провоевавший командир батареи» стояли, как позже выяснилось, факты, несколько отличные от прямого смысла этих слов. И поэтому письмо Солженицына, разосланное им, как потом он сам признался, в 250 адресов, смутило дух и привело в крайнее возбуждение не одного лишь темпераментного Владимирова. Его ровесник ленинградский поэт Владимир Соснора, будучи твердо уверен, что Солженицын – «пламенный борец с не-нашей идеологией», с еще большей уверенностью предрекал в своем огненном послании Союзу писателей: «Через две недели не будет ни одного (!) человека в России, и не только в России, который не прочитал бы это письмо». Виделось ему, что все человечество, отложив) самые срочные дела, остановив поезда и погасив домны, вот-вот засядет за чтение потрясающих страниц о том, как уничтожили Платонова и как Александр Исаевич с первого до последнего дня войны бесстрашно командовал своей смертоубийственной батареей.

Впрочем, не будем так строги к молодым тогда авторам, хотя один из них уже написал тогда двадцать четыре поэмы, каждая из которых равна «Медному всаднику» по объему. Не совсем трезво вели себя в те дни и некоторые литературные аксакалы. Вот Валентин Катаев. Ему было уже семьдесят. Мог бы, казалось, не буйствовать и понимать, что к чему. Но он наперегонки с тридцатилетними помчался на почту и отстучал в адрес съезда телеграмму, в которой оповещал: «С основными положениями письма я вполне согласен». С какими именно, не уточнял. Так и останется, увы, неизвестным, считал ли он «основным», допустим, «положение» письма о том, что у нас в стране «поносили» Достоевского, или о том, что Маяковский, которого Катаев хорошо знал лично, жил в советское время и разъезжал по советской стране с ярлыком «политический хулиган».

Еще более почтенный по возрасту Павел Антокольский, тоже сочинивший письмо, объявлял в нем Солженицына «наследником великих гуманистических традиций Гоголя, Л. Толстого, А.М. Горького» и призывал съезд покаяться перед этим вроде бы даже единственным «наследником»: «все мы в ответе перед ним». На колени, мол, братья писатели!

У иных аксакалов отрезвление не настало и по прошествии довольно длительного времени после съезда. Так, Твардовский даже и через восемь месяцев, в январе 1968 года, все еще уверял: «Я не помню даже попытки опровергнуть хотя бы один (!) из его (солженицынского письма. – В.Б.) пунктов, объявить их ложными... Почему? По той причине, что они в основе своей неопровержимы». Словом, маститый писатель вел себя почти так же, как тот ленинградский бурный талант, который за пятнадцать лет написал двадцать четыре «медных всадника». Прошло еще полгода, и в июле Лидия Чуковская все продолжала твердить: «Опровергнуть письмо нельзя ничем – и факты, и выводы неопровержимы». Ей шел в ту пору седьмой десяток... Это было поразительно! Ведь образованные же писатели...

В «Письме» много было намешано всего. Так, желая охарактеризовать духовную жизнь нашего общества, Солженицын утверждал, например, что «у нас одно время не печатали... делали недоступным для чтения» Достоевского<sup>18</sup>. Это сказано было, конечно, без должного уважения к истине. Как известно, Достоевский являлся сторонником самодержавия, иные его взгляды и произведения, так сказать, не соответствуют идеям социализма. При этих условиях наивно было бы надеяться, что сразу после свержения самодержавия и социалистической революции его стали бы печатать столь же охотно и широко, как, допустим, Горького или Маяковского, провозвестников этой революции. И тем не менее 23-томное Собрание сочине-

<sup>18</sup> Солженицын А. И. Письмо Четвертому Всесоюзному съезду писателей, с. 1. Архив автора. Далее – «Письмо». Оно опубликовано в уже цитированном 6-м томе собр. соч. Солженицына. Все цитаты в этом фрагменте взяты оттуда. – В. Б.

ний Достоевского, начатое до революции петербургским издательством «Просвещение», после Октября не было ни прервано, ни заброшено, ни забыто, и последние тома беспрепятственно вышли уже в советское время. В 1921 году в Москве и Ленинграде (Петрограде) был отмечен 100-летний юбилей Достоевского. еще раньше на Цветном бульваре был поставлен памятник работы известного скульптора С.Д. Меркулова и открыт музей на Божедомке, к которому позже памятник был перенесен. Вскоре после этого началась подготовка к изданию первого советского собрания сочинений писателя на научной основе, и оно было осуществлено в 1926–1930 годах. А 30-томное академическое в 70—80-х годах?! Всего после революции, по данным на ноябрь 1981 года (160 лет со дня рождения писателя), вышло в нашей стране 34 миллиона 408 тысяч экземпляров его книг. Это получается в среднем около 540 тысяч ежегодно. Где ж тут «недоступный для чтения»? Надо ли упоминать еще и о целой научно-критической литературе о творчестве Достоевского, созданной в советское время?

Далее Солженицын писал, что великого писателя, гордость мировой литературы, у нас «поносили». Это обвинение, как и многие другие обвинения его письма, безадресно. Кто «поносил» – неизвестно. И что значит «поносил»? Достоевский художник сложный, трудный, противоречивый, страстный. Он и сам кое-кого «поносил». Так, Тургенева и Островского обвинял в шаблонности; о Толстом писал, что тот в сравнении с Пушкиным ничего нового не сказал; Салтыкова-Щедрина называл сатирическим старцем; о Константине Леонтьеве говорил, что вся его философия сводится к девизу «Живи в свое пузо» и т. п. Вполне естественно, что у такого художника и среди современников, и среди потомков были да, видимо, и всегда будут как горячие почитатели, так и яростные противники, которые тоже порой не слишком склонны к сдержанности в выражении своих чувств, – и разве им это запретишь? Его не любили такие большие художники, как Чайковский, Бунин. Но уж если речь вести о поношении Достоевского в прямом смысле, без кавычек, то в советское время его не было, а в прежние поры – сколько угодно. Именно тогда, в старое время на него писали злобные эпиграммы, главной чертой его таланта провозглашали жестокость, даже сравнивали с маркизом де Садом и т. д. И ведь это лежит на совести не кого-нибудь, а Некрасова, Тургенева, Михайловского. Уж не будем останавливаться здесь на критике Страхова, который просто оклеветал писателя.

В письме Солженицына содержались столь же неосновательные обвинения, связанные с именами некоторых советских писателей. Например, он гневно вопрошал: «Не был ли Маяковский «анархистствующим политическим хулиганом»?» Слова-ярлык взяты в кавычки, будто цитата откуда-то, но откуда – опять неизвестно! Может, конечно, кто-то и называл так Маяковского до революции, когда в стихах и особенно в публичных выступлениях поэта было много дерзкого эпатажа, но назвать его после революции «политическим хулиганом», т. е., в сущности, врагом революции, которую он сразу принял всей душой и поставил свое перо, по собственному признанию, «в услужение» ей, – так назвать поэта мог бы лишь человек, который отличается, по слову Достоевского, «совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества». Нельзя, естественно, исключать возможности того, что люди именно с подобным способом мышления были среди родственников Солженицына или его знакомых, от которых он и услышал такую характеристику Маяковского. И запомнил ее, не сумев осмыслить. И не зная, как видно, при этом того, что до революции Маяковский сильно страдал от цензуры. Она не пощадила, допустим, его поэму «Облако в штанах». Полностью удалось опубликовать ее лишь после революции, в марте 1918 года.

Нагнетая мрачные краски в характеристике духовной жизни нашего общества, Солженицын далее уверял: «Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой девять лет назад (т. е. в 1957 году? – В.Б.) было объявлено «грубой политической ошибкой». Снова неизвестно, кем «было объявлено». С какого лобного места? Может, это приснилось? Похоже, что именно так, ибо с тем «объявлением» никто не посчитался, и вскоре издания произведений Цветаевой последовали одно за другим: 1961 год – «Избранное», 1965-й – «Избранные про-

изведения» (большая серия «Библиотеки поэта»), 1967-й – «Мой Пушкин» (позже издан в более полном виде еще два раза)... А сколько этому сопутствовало журнальных публикаций: в «Москве», «Новом мире», «Звезде», «Просторе», в «Литературной Грузии», «Литературной Армении», в альманахах «День поэзии» и «Прометей»... В 1979 году вышли стихи и поэмы Цветаевой в малой серии «Библиотеки поэта» (576 страниц), 1980-й принес читателям ее двухтомник (том первый – стихотворные произведения, 575 с, том второй – проза, 543 с), 1983-й – «Стихотворения», изданные в Казани 100-тысячным тиражом... И эти издания, эти публикации вызвали большое количество статей, рецензий в тех же упомянутых популярных журналах.

Но автор «Письма» все продолжал класть мрачайшие мазки: он, допустим, божился, что совсем недавно «имя Пастернака нельзя было и произнести вслух». Имелась в виду злополучная история передачи писателем за границу и опубликование там в 1957 году романа «Доктор Живаго», а также присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии. Это вызвало тогда резкую критику в советской печати (например, статья Д. Заславского в «Правде» 26 октября 1958 года, в которой Пастернак был назван «литературным сорняком») и повлекло за собой исключение большого художника из Союза писателей. Увы, это было. Но дело, однако же, далеко не доходило до того, чтобы люди боялись произнести имя поэта вслух. Так, в том же 1958 году вышла книга «Стихи о Грузии. Грузинские поэты», и на ее обложке стояло имя не чье-нибудь, а исключенного из Союза писателей Пастернака. Позволю привести еще пример из собственной литературной работы. 13 сентября 1958 года я опубликовал в «Литературной газете» статью «И вечный бой!», посвященную роману Анатолия Калинина «Суровое поле», и там цитировал популярнейшие строки Пастернака. Да не в подбор, как ныне газеты цитируют даже Пушкина, а как полагается – стих под стихом. Было это, повторяю для в «Литгазете», где я тогда работал, на глазах у всех и в самый разгар критики опального поэта, однако – я остался жив! Да, у многих советских писателей жизненная и творческая судьба в годы так называемого «культа личности» оказалась трудной, а порой и трагической, но Солженицын, внося смуту в вопрос, в котором необходимы абсолютная достоверность и точность, в своем письме еще более все это драматизировал, усугублял, ухудшал, не останавливаясь перед прямым искажением фактов. К тому, что уже сказано, можно добавить, например, его утверждения (и, разумеется, чрезвычайно гневные!), будто для Николая Заболоцкого «преследование окончилось смертью», а Андрея Платонова «уничтожили». Заболоцкий, как об этом сказано в Краткой литературной энциклопедии, действительно «в 1938 году был незаконно репрессирован; работал строителем, чертежником на Д. Востоке, в Алтайском крае и Караганде», но в 1945 году его полностью реабилитировали, он вернулся в Москву и пишет в это время много прекрасных стихов, а в 1948 году выходит его книга «Стихотворения». Умер Николай Заболоцкий своей смертью в Москве 14 октября 1958 года пятидесяти пяти лет от роду. Что же касается Платонова, то он вообще никогда не был репрессирован. И никто его не «уничтожал», а умер он опять же своей смертью, в Москве, на пятьдесят втором году жизни. Как видим, уже тогда, в самом начале Солженицын врал направо и налево...

Но все сказанное вовсе не означает, конечно, что у нас не находилось людей, порой и достаточно влиятельных, которые были чрезмерно осторожны, а то и враждебны по отношению к тем или иным из названных здесь писателей или к отдельным их произведениям. Так в 1935 году издательство «Academia» выпустило роман Достоевского «Бесы». Это вызвало чрезвычайно резкий протест уже упоминавшегося Д. Заславского, весьма известного и деятельного в ту пору журналиста. Он выступил со статьей, которая была озаглавлена никак иначе, а – «Литературная гниль». Факт более чем прискорбный, но он не остался без достойного ответа. И ответил не кто-нибудь, а сам Максим Горький, отношение которого к Достоевскому, при всем восхищении его изобразительной силой, во многих аспектах было весьма критическим. Он писал: «Мое отношение к Достоевскому сложилось давно, измениться – не может, но в дан-

ном случае я решительно высказываюсь за издание «Академией» романа «Бесы...» И всего этого не знали Антокольский и Катаев, Твардовский и Лидия Чуковская?

После истории с письмом к съезду Солженицын развил бешеную деятельность по разным направлениям: требовал от Союза писателей публикации своих романов и повестей, добивался обсуждения «солженицынского вопроса» в секретариате Союза, тайно отправлял свои рукописи за границу (впрочем, это, возможно, сделано было и раньше), направо и налево раздавал западным журналистам весьма экстравагантные интервью... Следствием его титанической активности явились два знаменательных события: с одной стороны – в ноябре 1969 года исключение из Союза писателей, с другой – ровно через год присуждение Нобелевской премии. В те бурные дни ему, конечно, было не до переписки со мной. Я тоже не писал.

В феврале 1974 года Солженицына экспортировали в ФРГ и лишили гражданства, с весны 1975-го он обосновался в США, в штате Вермонт. Там с новой силой принялся за анти-советчину. Большое усердие не остается без внимания, благодарности и поддержки. Так, 10 мая 1983 года ему выдали еще и Темплтоновскую премию «За вклад в развитие религиозного сознания» (Англия), кажется, раза в два с половиной превышающую его Нобелевскую, за некие заслуги на религиозном поприще.

В свое время у нас о Солженицыне было напечатано много статей, рецензий, заметок, откликов. Были и серьезные, глубокие, но иные, к сожалению, оказались весьма поспешны и поверхностны. Появились у нас и книги о Солженицыне. Первая – «В споре со временем»<sup>19</sup>, принадлежит перу Натальи Решетовской, бывшей жены писателя. В ней много конкретных и достоверных, документально обоснованных сведений о жизни А. Солженицына с детских лет до весны 1964 года, там приоткрывается завеса над самой личностью писателя. Вторая книга – «Спираль измены Солженицына»<sup>20</sup> – перевод с чешского, написана чехословацким литератором Томашом Ржезачем, лично знавшим своего героя в пору его пребывания в Швейцарии. Следует также упомянуть обширные публикации историка Н. Яковлева, посвященные в основном историческим и военным концепциям А. Солженицына, развитым в его романе «Август четырнадцатого». Эти публикации<sup>21</sup> содержат немало нового. Позже в переводе с французского вышла книга «Солженицын»<sup>22</sup> Жоржа Нива. А тут поспешил просветить подрастающее поколение своим «Солженицыным» и Виктор Чалмаев<sup>23</sup>... Наконец, в 2008 г. в ЖЗЛ вышел и «Солженицын» Людмилы Сараскиной, о котором в конце мы скажем особо.

Мой интерес к Солженицыну, первоначально проявившийся в статье о нем, а позже подкрепленный перепиской и личным знакомством, со временем не слишком ослабевал, хотя окраска его становилась несколько иной. Это побуждало меня при возможности читать и то, что он писал или говорил сам, и то, что о нем писали или говорили другие. Из прочитанного делались выписки, вырезки и т. д. Важное значение имели тут мои зарубежные поездки, в частности, поездка в ФРГ и посещение там Международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне в октябре 1979 года. На этой ярмарке и около нее тема Солженицына была представлена роскошнейшим образом. Да и не только на ярмарке. Первое, что мне подавали в книжных магазинах Франкфурта, Мюнхена, Майнца, Кельна, Бонна, Аугсбурга и Вупперталя, когда я спрашивал о русской литературе, был «Архипелаг ГУЛАГ», а уж потом следовали Толстой, Достоевский, Горький. В результате всех этих домашних и зарубежных штудий у меня скопился изрядный материал, который сам просился на бумагу.

<sup>19</sup> Решетовская Н. В споре со временем. АПН, 1975. Далее – Н. Решетовская.

<sup>20</sup> Ржезач Т. Спираль измены Солженицына. Прогресс, 1978.

<sup>21</sup> Яковлев Н.Н. Продавшийся и простак // Голос Родины, февраль, 1974; Яковлев Н.Н. Продавшийся. Литературная газета. 20.02.1974.

<sup>22</sup> Нива Ж. Солженицын. Художественная литература, 1992.

<sup>23</sup> Чалмаев В. Александр Солженицын. Жизнь и творчество. Просвещение, 1994.

А. Солженицын совершенно уверен, что все, написанное им, а в особенности, конечно, его Главная Книга – «Архипелаг ГУЛАГ», это абсолютно неуязвимая высочайшая правда. По его словам, Ассоциация американских издателей еще до появления «Архипелага» в США предложила тогда широко опубликовать в Соединенных Штатах любые опровергающие материалы. «Тщетное великодушие! – гордо восклицает Солженицын в брошюре «Сквозь чад». – Кроме бледной статьи Бондарева в «Нью-Йорк таймс» да захлебной ругани АПНовских комментаторов, ничего не родили тотчас». И дальше с чувством еще большего торжества: «Но вот отменно: они ничего не родили в опровержение и до сих пор, за пять лет. Пропагандистский аппарат оказался перед «Архипелагом» в полном параличе: ни в чем не мог его ни поправить, ни оспорить... Потому что ответить – нечего». И, наконец, уж вовсе упоенно: «За четырнадцать лет моих публикаций... не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами, потому что ни мыслей, ни аргументов у них нет»<sup>24</sup>.

Я не знаю, почему в свое время не приняли предложение Ассоциации американских издателей ответить на «Архипелаг», если оно в самом деле имело место. Может, действительно сразу-то, с налету не нашлось ни мыслей, ни аргументов. Известное дело, еще Бисмарк корил нас: «Русские медленно запрягают...» Но уж ныне-то грешно было бы утаивать от читателя появившиеся мысли и аргументы. Словом, пожалуй, настало время для более пристального рассмотрения фигуры Александра Исаевича Солженицына. И начнем с одной из первых книг о нем.

«Томашу Ржезачу, журналисту. Прага

Уважаемый Томаш! В своей книге об А. Солженицыне Вы неоднократно представляете его читателю страдальцем и мучеником, вынесшим невероятное. Вы пишете: «Хемингуэй высказал мысль, что каждый настоящий писатель должен пройти через какие-либо тяжелые жизненные испытания, такие, например, как война, заключение». Не знаю, точно ли пересказываете Вы Хемингуэя, но важно не это, а то, что Вы говорите дальше: «Солженицын проделал именно такой жизненный путь... Он прошел трудный путь... В жизни ему выпало испытать самое тяжелое».

Вы не одиноки, многие говорят о нем в этом же самом духе: «Человек, испытанный огненным крещением...» «переживший муки ада...» «вынесший 11 лет ужасного кошмара советских лагерей...» и т. п.

Такому представлению о жизненном пути Солженицына, надо думать, больше всего содействовали его собственные рассказы и заявления о себе. Вы пишете, что, «по его словам», он прошел «огонь и воду, медные трубы и чертовы зубы». Я не встречал у него именно этих слов, но нечто подобное он говорил и писал неоднократно. Особенно примечательно вот это высказывание в книге «Бодался теленок с дубом»: «Вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью». Обратите внимание, его приучили к плохому не годы заключения, а «вся жизнь», весь пройденный им путь. И, конечно же, надо не только видеть плохое и тяжелое со стороны, а испытать все на своей судьбе, на собственной шкуре, чтобы до такой степени «приучиться» к нему – верить в него не иногда, а всегда и не просто легко, но даже с готовностью!

Так давайте, товарищ Ржезач, и окинем взглядом «всю жизнь» Солженицына, посмотрим, действительно ли она была столь ужасна, так изобиловала неудачами, страданиями и тяготами, что не могла не приучить его к постоянной готовности верить в плохое. Солженицыну уже в самом начале жизни крупно повезло даже с местом рождения. Сколько русских писателей родились и провели жизнь в пыльной и шумной Москве, в пасмурном холодном Петербурге-Ленинграде, в сонных уездных городках, в глухих убогих деревеньках... А Солженицын

<sup>24</sup> Солженицын А. Сквозь чад. YMCA-PRESS, Paris, 1979, с. 3, 11. Далее – «Сквозь чад».



родился на курорте! И это был не какой-нибудь зачуханный поселочек вроде Шафраново, куда ездил лечиться Толстой и где нет ничего, кроме кумыса и запаха конского навоза. Солженицын явился на свет в знаменитом на всю Россию, хорошо известном и Европе, в замечательном городе Кисловодске – первом курорте страны. Это – 900 метров над уровнем моря, хрустальной чистоты воздух, весь год – обильный солнцем, но нежаркое лето, теплая сухая осень, мягкая, ясная, безветренная зима. Это – среднегодовая температура воздуха 8,8 градуса тепла. Это, наконец, нарзан. Не знаю, дорогой Томаш, могут ли ваши Карловы Вары сравниться с нашим Кисловодском. Недаром же еще в первой половине XIX века русская аристократия отметила его своим прихотливым вниманием.

Будущий титан Шурик родился зимой. В эту пору его ровесников москвичей и петроградцев, пензяков и туляков кутали в теплые одеяла, укрывали овчинными шубами, его деревенские сверстники задыхались и прели в душных избах, а он вдыхал живительный горный воздух, млел в колясочке на мягком зимнем солнце, блаженно сучил еще кривоватенькими розовыми ножками и в неограниченных количествах мог потреблять нарзан. А какие виды, какие пейзажи несравненного Приэльбрусья открывались еще мутноватеньким Саниным глазкам! Последствия такого курортного существования с начальных дней оказались самыми благотворными. Отмечу хотя бы одно: видимо, именно вволю отведенный на заре жизни нарзан (в переводе с кабардинского «нарт-сане» это «богатырская вода») не только придал Шурику богатырскую силу, сообщил великую творческую энергию, но и внушил почти полное неприятие алкоголя, сгубившего немало русских талантов. Уже находясь на фронте, он писал жене о водке, которую там выдавали в зимнее время: «Представь себе, веселит, хотя и 100 грамм всего. Я их – кувырк!» Видимо, тут переданы ощущения человека, впервые отведавшего спиртного. А было ему тогда 25 годков...

Продолжал так: «А в общем – к чертовой матери! Каждый день пить не буду, это вредно. Буду менять на сахар». Каждый день не вредно, а даже полезно пить нарзан. И хорошо бы, конечно, допустим, каждый день по сто грамм водки выменивать на бутылку нарзана, да где ж его взять на фронте, и приходилось довольствоваться сахаром. Впрочем, и такой гешефт был боевому офицеру приятен: уж очень всю жизнь любил он сладкое во всех его возможных видах – от шоколадки до Нобелевской премии. К слову сказать, тогда еще не велись разговоры о том, что сахар – это «белая смерть». Иначе Солженицын выменивал бы свои сто грамм на что-то другое, допустим, на свиную тушенку, которая к его прибытию на фронт в середине 43-го года как раз начала поступать нам из Америки по ленд-лизу.

Однако я отвлекся. Вскоре маленький Шурик переезжает с матерью в Ростов-на-Дону. Случалось ли Вам, дорогой Томаш, бывать в этом городе? Мне выпало неоднократно. Конечно, в 20—30-е годы он выглядел иначе, но и тогда многие его достоинства не подлежали сомнению: город большой, зеленый, на знаменитой великой реке в сорока пяти верстах от моря, рукой подать до Кавказа, а сверх всего – и театры, и университет! Сейчас почти потеряло значение, почти исчезло понятие «университетский город»: ныне университетов много. А тогда университеты в стране были наперечет, и университетские города имели особое значение и вес, необычную притягательность и авторитет. К числу этих редких баловней истории принадлежал и Ростов. Большая жизненная удача, особенно для человека, помышляющего стать писателем, – оказаться жителем такого города. Именно эта удача и выпала на долю Сани Солженицына, когда он из Кисловодска переехал с матерью в Ростов.

Правда, было одно печальное обстоятельство: отец Солженицына умер (или погиб) еще до рождения сына. Но такая участь не считалась в ту пору редкостной, исключительной. Только что кончилась империалистическая война, шла война Гражданская, голод, эпидемии – все это унесло миллионы жизней. Безотцовщина, сиротство, беспризорщина никого тогда не удивляли. Все-таки на долю Солженицына выпало меньшее из этих зол, и оно, как видно, в огромной степени смягчалось заботой, вниманием и самоотверженностью матери.

Мать была стенографисткой-машинисткой. Видимо, ей удавалось неплохо зарабатывать, во всяком случае, она сумела сделать так, что сын не только окончил школу, а потом университет, не бросил их и не пошел работать, но и за все время учения не бегал по случайным заработкам, что было тогда так широко распространено среди учеников и особенно студентов. Разве такая мать – это не счастливый подарок судьбы?

Однажды Солженицын скажет: «Я детство провел в очередях – за хлебом, за молоком, за крупой». Да, время было трудное, и детям приходилось стоять в очередях. Но есть основание думать, что и это обошлось ему легче, что выпадало все-таки гораздо реже стоять, чем сверстникам, ибо в другой раз он скажет: «Детство я провел в многочисленных богослужениях». Видно, когда ровесники стояли в очередях, Шурик нередко имел возможность возносить к небесам аллилуйю. Возможность эту обеспечивала, конечно, мать, ее заботы.

Судьба не обделила Солженицына почти ничем из того, что необходимо для плодотворной умственной работы, – ни способностями, ни трудолюбием, ни усидчивостью, ни здоровьем, наконец. более чем щедро она наградила его и честолюбием, а оно один из главных двигателей творчества. Благодаря своим незаурядным природным данным Солженицын хорошо учился и в школе, и в университете. Но, дорогой Томаш, разве не случалось Вам встречать людей талантливых, деятельных, добивающихся отличных результатов в своей работе, но они, как говорится, не умеют себя подать и всегда остаются в тени, их жизнь проходит в безвестности? Не так было с Солженицыным. Он умел сделать так, что его способности и старания всегда сразу замечались, получали поддержку и поощрение. В школе он был назначен сначала бригадиром (было это тогда!), позже – старостой класса, а в университете его облаkali Сталинской стипендией, что по тем временам ценилось чрезвычайно высоко, да и цифровое ее выражение было весьма существенным, в несколько раз превосходившим обычную студенческую стипендию. Это ли не новая и крупная удача? Правда, для Сталинской стипендии нужны были не только отличные отметки, тут учитывалась и общественная работа, политическая активность. Ну, уж чего-чего, а этого-то у Сани было с избытком! Тут и художественная самодеятельность, и редактирование стенной газеты, и «вообще деятельное участие во всех комсомольских делах».

Летом 1939-го он поступил на заочное отделение Московского института истории, философии, литературы. Опять удача? еще какая! Это было бы большой удачей и не только для провинциального юноши, который еще не носил гордое звание Сталинского стипендиата, имевшее магическую силу. Ведь ИФЛИ был знаменит на всю страну!

Высокую персональную стипендию Солженицын стал получать с 1940 года, на полтора года позже. Это существенно отметить, ибо ясно же, что поступление в московский институт, длительные поездки в столицу по делам учебы требовали новых дополнительных средств, а повышенной стипендии еще не было, выходит, что мать Солженицына все-таки выискивала эти средства, очевидно, исключительно за счет того, что брала новую и новую работу. О том, как старалась мать сделать для своего Шурика все, что в ее силах, говорит и знаменательная покупка велосипеда в 1936 году, видимо, в связи с окончанием десятилетки. Знаете ли Вы, дорогой Томаш, что значил в нашей стране в середине 30-х годов личный велосипед? Пожалуй, почти то же самое, что сейчас в Чехословакии личная «Татра» или у нас – «Волга». И вот семнадцатилетний Солженицын получил от матери такую «Волгу».



Студент заочного отделения Московского института истории, философии и литературы Александр Солженицын. 1939 г.

*«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть – не через тебя»*  
(Александр Солженицын)

Машина не стояла без дела. Летом 1937 года в первые студенческие каникулы они с приятелем Николаем Виткевичем покатались на юг, проехали по Военно-Грузинской дороге. В следующем году, после второго курса, крутили педали уже по дорогам Крыма и Украины.

После третьего курса – махнули в Казань, купили там за 225 рублей лодку, прокатились вниз по матушке по Волге до Самары, недавно ставшей Куйбышевом, продали там лодку за 200 рублей и вернулись домой, а затем – в Москву, опять вместе поступать в ИФЛИ. Лето следующего года распределилось у Солженицына так: с середины июня до конца июля – в Москве, где сдает экзамены за первый курс ИФЛИ; с конца июля, видимо, до конца августа – в Тарусе, где они с Натальей Решетовской проводят свой медовый месяц. На этом следует остановиться. Женитьба Солженицына – это еще один, может быть, самый большой подарок ему фортуны. В самом деле, в таких девушек, как Наташа Решетовская, влюбляются многие. Это об одной из них Пушкин сказал:

Вы избалованы природой,  
Она пристрастна к вам была.  
И наша вечная хвала  
Вам кажется докучной одой...

Н. Решетовская действительно была избалована природой: и хороша, и умна, и богато одарена талантами – впоследствии она стала хорошим ученым, преуспела по службе (доцент, завкафедрой), а как пианисткой ею восхищались музыканты и писатели с мировыми именами. Да, в таких влюбляются многие. Но многие ли добиваются успеха? А вот Солженицын влюбился – и она стала его женой. Молодые люди едва ли не пол-Ростова завидовали ему.

О медовом месяце в тихой поэтичной Тарусе Н. Решетовская вспоминает так: «Сняли отдельную хату у самого леса. Мы не столько бродили по этому лесу, сколько располагались в тени берез, и муж читал вслух или стихи Есенина, или «Войну и мир» Толстого, частенько находя сходство между двумя Наташами». Это происходило в 1940 г.

На будущий год, 22 июня, Солженицын снова приезжает в Москву – сдавать экзамены за второй курс, но это был уже 1941 год, и не знаю, довелось ли ему в этот раз сдавать экзамены.

Итак, каждое лето после окончания школы, пять студенческих каникул подряд, Солженицын или проводит в туристских вело-лодочных походах, или ездит в Москву. Из этого можно сделать по крайней мере два существенных вывода. Первый: молодой человек может позволить себе даже в каникулы не тратить золотые дни молодости на какие-то заработки, как многие его однокашники; он предпочитает в это время любоваться красотами Дарьяльского ущелья и Жигулями, бродить по горным тропам и подниматься на Ай-Петри, слушать рокот моря и шелест волжской волны, блаженствовать с возлюбленной в тени тарусских берез и размышлять о ее сходстве с героиней Толстого... Когда позже, через несколько лет, он станет чернить советскую власть и все ее порядки, называя их бесчеловечными, жестокими, рабскими, он не вспомнит, что все это – ростовский университет и первоклассный московский институт, высокую стипендию и льготные каникулы, которые он проводил, как ему вздумается, – все это он имел, будучи сыном не высокопоставленного партийного руководителя, не генерала, не наркома, не академика, а всего-навсего одинокой и больной стенографистки.

Второй вывод таков: Вы ошибаетесь, т. Ржезач, когда пишете о Солженицыне в детстве и юности: «одутловатый, не слишком расторопный», в его облике «какое-то почти мистическое одиночество», наделяете его стремлением к отчужденности и замкнутости. Словом, создаете портрет болезненного анахорета. Факты биографии противоречат этому. Чтобы совершать длительные многокилометровые путешествия на велосипеде по горным дорогам или на лодке по реке, надо иметь крепкое здоровье. Судьба не обделила Солженицына и в этом – он был здоровым человеком с юных лет. Правда, порой пошаливали нервишки, на почве уязвленного самолюбия с ним случались нервные припадки, – ну кто же может похвастаться абсолютной безупречностью здоровья?

Что же касается замкнутости и «мистического одиночества», то откуда бы им взяться у бригадира, у старосты класса, а затем – у активнейшего комсомольца, редактора стенгазеты, участника художественной самодеятельности? И разве Вам неизвестно, что в студенческие годы у них существовал крепкий дружеский кружок, в который помимо Солженицына и Решетовской входили Николай Виткевич, Лида Ежерец и Кирилл Симонян?

Нет, уж чего-чего, а физической крепости, расторопности и ловкости, общительности и энергичности Солженицыну было не занимать на протяжении почти всей его жизни. Последнее, о чем следует сказать, всматриваясь в детско-юношеский ростовский период жизни Солженицына, это вот что. По сведениям, которые Вы приводите в своей книге, и отец его, и мать происходили из очень богатых семей землевладельцев и скотоводов. Некоторые люди, имевшие таких родителей, в советское время так или иначе пострадали. Солженицын же ничуть! Он шел по жизни беспрепятственно. Его происхождение не помешало ему ни в школе, ни при вступлении в комсомол, ни когда принимали его в университет, а затем – в столичный институт, ни при назначении ему Сталинской стипендии, ни при поступлении в офицерское училище, ни при быстром продвижении по службе, ни при награждении орденами, ни при реабилитации, наконец. Он не вспомнит и об этом, когда в «Архипелаге ГУЛАГ» будет убеждать, что «лились потоки (арестованных) за сокрытие соц. происхождения», за «бывшее соц. положение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и ЛИЧНЫХ ДВОРЯН, т. е. попросту – окончивших когда-то университет. А уж взят – пути назад нет, сделанного не воротишь».

«Не очень разобравшись»... Это пишет человек, который своей биографией не только противоречит сказанному им, но и, претендуя на роль знатока старой России, не знает о ней простейших вещей и говорит анекдотические несуразности: будто все, окончившие университет, получали дворянство – что за вздор!

Так что же, скажете Вы, в ростовскую пору одни только удачи, успехи да везение? Нет, был у нашего героя в эту пору один крупный срыв: он мечтал стать актером, пробовал после десятилетки поступать в студию Юрия Завадского, находившуюся тогда в Ростове, и – провалился, сказали, что слабы голосовые связки. Пришлось ограничиться амплуа первых любовников в университетской самодеятельности. Но и эта неудача была все-таки временной и относительной. Солженицын еще развернет свои актерские способности, он еще сыграет хорошо выученную роль на глазах всего мира... Но об этом – дальше».

## Солженицын и Достоевский

Как мы отчасти уже видели, иные авторы, высказывавшиеся об Александре Солженицыне, склонны были при этом поминать имена великих русских писателей, чаще всего – Достоевского и Толстого. Вот-де новый Достоевский; вот, мол, Толстой нашей эпохи. Правда, никакие доказательства за этими объявлениями, к сожалению, не следовали. Если у нас лишь отдельные авторы сравнивали Солженицына с Толстым и Достоевским (одним из последних по времени – коммунист В. Видьманов в «Правде»), то на Западе, как справедливо замечает Н. Решетовская, такое сравнение «введут в практику», в обиход. Что ж, не пойти ли нам в данном вопросе по одной дорожке с просвещенным Западом? Ведь интересно же, куда это может нас привести.

Б.И. Бурсов в своей интереснейшей книге «Личность Достоевского» (Л., 1982), к которой я буду здесь неоднократно обращаться, пишет о классике: «Он нередко похож и на тех выдающихся писателей и мыслителей, с произведениями которых не мог быть знаком». Да, с «Архипелагом ГУЛАГ» Достоевский не был знаком, не читал его запоем, не клал лишь с рассветом под подушку, и все же, думается, тут есть вроде бы веские основания для размышлений о «похожести» и «общности»: у этих писателей немало как бросающихся в глаза с первого взгляда, так и едва приметных совпадений самого разного рода – и биографических, и иных.

Читатель может сказать: «Допустим. Но в приведенном высказывании маститого литературоведа речь, однако же, идет о выдающихся писателях, – разве можно к таким фигурам отнести Солженицына?» Пока мы ответим на это так: Солженицын приобрел большую известность, его книги изданы во многих странах, и в этом смысле он бесспорно писатель выдающийся, нравится вам сей факт или нет. Но по заслугам ли получил он известность, – выяснению именно этого вопроса и посвящена настоящая работа. А тем, кто уж очень строг и нетерпелив, мы напомним, что допускал же, например, Толстой в статье «Кому у кого учиться писать – крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» сопоставление крестьянского мальчика Федьки с самим олимпийцем Гете. Для анализирующей мысли не должно быть никаких запретов, и она имеет право выбирать те пути (в том числе – сопоставления), которые, как она убеждена, вернее и короче всего ведут к истине.

Б. Бурсов пишет: «Биография Достоевского преисполнена неожиданностей и случайностей... Весь он окутан туманом легенд, которые более правильно назвать неправдоподобными историями. Даже его собственные рассказы и воспоминания о самом себе редко внушают полное доверие». Все это с полным основанием можно сказать и о Солженицыне. Если же перейти к вещам более конкретным, если начать с биографий и начать издалека, то можно отметить хотя бы вот что.

Писатели родились довольно близко и по времени года – первый в ноябре, второй в декабре – и по «времени века»: соответственно в 21-м году девятнадцатого и в 18-м году двадцатого. Отцы обоих писателей, Михаил и Исаак, умерли в сравнительно молодом возрасте при загадочных, до сих пор не проясненных окончательно обстоятельствах, Михаил – в июне 1839 года, пятидесяти лет, Исаак – в марте 1919 года, видимо, еще моложе.

Достоевский с юных лет страдал припадками, возможно, унаследованной от отца эпилепсии, таинственной болезни нервной системы, причина отдельных форм которой остается неизвестной доныне; однажды во время припадка поранил правый глаз, в результате чего непомерно расширился зрачок. Солженицын с детства тоже отличался загадочными нервными расстройствами, порой доходившими до припадков, во время одного из коих, случившегося в школе из-за строгой нотации учителя, он упал и так поранил себе лоб, что на всю жизнь остался шрам, который некоторые принимают за ранение на фронте.

Достоевский хорошо учился в московском пансионе Леонтия Чермака и позже был одним из первых воспитанников в петербургском Главном инженерном училище; инженерное дело он знал и любил. Солженицын – неукоснительный отличник и в школе, и на физико-математическом факультете Ростовского университета, и на заочном отделении Московского института философии, литературы и истории, по отзывам его знакомцев, математику он знал и любил. Приблизительно в одном возрасте – Достоевский на 28-м году, Солженицын на 27-м – оба были арестованы и приговорены к лишению свободы. Первый целиком, а второй частично отбывали срок наказания в Сибири, в одном и том же юго-западном ее районе. Оба получили свободу по амнистии и вернулись к нормальной жизни в Центральной России через десять лет, когда им уже подбиралось под сорок. И тот и другой в жизни своей несколько раз сватались и были дважды женаты. Первый раз – на своих сверстницах и по страстной любви. Достоевский так, например, рассказывал о своих чувствах в письме к А.Е. Врангелю 21 декабря 1856 года: «Она сказала мне: да... Она меня любит... О! если б вы знали, что такое эта женщина». Солженицын ровно через сто лет вспоминал в одном из писем к Н. Решетовской, своей первой избраннице: «Сегодня – ровно 20 лет с того дня, который я считаю днем окончательного и бесповоротного влюбления в тебя... На другой день был выходной – я ходил по Пушкинскому бульвару (в Ростове-на-Дону. – В.Б.) и сходил с ума от любви»<sup>25</sup>. Несмотря на такую страсть влюбление у того и другого, увы, не оказалось «бесповоротным»: у Достоевского при живой жене был мучительный, бурный роман с Апполинарией Сусловой; у Солженицына дело обернулось еще сложнее. Весной 1952 года, не дождавшись возвращения мужа, Н. Решетовская соединила свою жизнь с другим человеком. Через год Солженицын вышел из лагеря и в качестве ссыльного обосновался в поселке Кок-Терек, в Джамбульской области Казахстана. В тридцать четыре года холостому человеку естественно подумать о женитьбе. Он подумал и начал свататься. Летом 1955 года едет из Кок-Терека в Караганду, чтобы жениться там на женщине, с которой познакомился по переписке. Увы, этот эпистолярный способ витья семейного гнезда в данном случае почему-то дал осечку. Тогда, не теряя времени, следующим летом он мчится на Урал: там светила надежда построить гнездо посредством ветхозаветной свахи. Свах было даже две – жена и муж Зубовы, друзья Солженицына по ссылке. Сватали они свою племянницу Наташу. Но, увы, ни старые, ни новые формы сватовства не принесли Солженицыну успеха на обширных пространствах отечества от Караганды до Урала. И тогда он вспомнил о другой Наташе – о своей прежней жене, и вскоре ему удастся вернуть ее, точнее говоря, создать условия для своего возвращения к ней в Рязань.

Хотя Солженицын и клялся жене, что и в шестьдесят лет будет любить ее «так же, как полюбил в восемнадцать», но... Через несколько лет у него – тайный роман с неизвестной нам дамой в Ленинграде. Однако до развода и новой женитьбы дело тогда, как у Достоевских, не дошло. Решетовская объясняет это так: «Перемена образа жизни могла бы нанести ущерб творчеству. И Александр решил подавить свое влечение к другой женщине». Но через несколько лет – новый роман, на сей раз, увы, неподавимый. Солженицын расходится с Натальей Решетовской, женится на Наталье Светловой (если считать и уральскую, это уже третья Наталья в его жизни) и переезжает из Рязани в Москву. Во вторые браки оба вступали, когда им было под пятьдесят. Достоевский – опять по горячей любви; о Солженицыне точными сведениями по этому вопросу не располагаем. Во вторых браках жены уже не сверстницы мужей, как в первых, а гораздо моложе: у Достоевского ровно на двадцать пять лет, у Солженицына – лет на двадцать. И обе женщины по происхождению не совсем русские: мать Анны Григорьевны Достоевской (Сниткиной) была обрусевшая шведка, Наталья Светлова – еврейка по матери,

<sup>25</sup> Решетовская Н. В споре со временем. М.: АПН, 1975.



принявшая христианство<sup>26</sup>. В этих браках у обоих выросло по два ребенка, а первые браки были бездетными.

Оба писателя прожили по меркам нашей литературы довольно долгую жизнь: классик почти шестьдесят, наш современник – девяносто... Так обстоит дело с некоторыми бросающимися в глаза биографическими совпадениями. Не правда ли, их довольно много? Странно, что они не стали предметом рассмотрения аналитиками.

Кое-что интересное можно обнаружить и в литературно-творческой сфере. И Достоевский и Солженицын о писательстве мечтали с детства и очень рано предприняли попытки сочинительства, причем на одинаково экзотическом материале: первый еще ребенком писал повести из венецианской жизни, а второй школьником сочинял что-то в духе Майн Рида. Их дебюты тоже имеют существенные черты сходства: и там и тут это было довольно небольшое произведение, и там и тут это явилось шумной сенсацией. Достоевский вслед за «Бедными людьми» выступил с повестями «Двойник» и «Хозяйка», и новые вещи резко изменили отношение к нему прежних самых искренних сторонников и почитателей. Очень странным оказалось, в частности, то, что автор повестей вдруг предстал по сравнению с первой публикацией далеко не таким зрелым и даже не вполне сложившимся писателем.

Такой же резкий перелом случился и с Солженицыным. После «Одного дня Ивана Денисовича», превознесенного до небес, удивляли вещи, написанные торопливо, неряшливо, неглубоко: рассказ «Для пользы дела», очерк «Захар-Калита», повесть «Раковый корпус»... Здесь громкая знаменитость представляла писателем не только менее опытным, но зачастую просто неумелым. «В несколько месяцев литературная репутация Достоевского изменилась в корне» – эти слова из уже цитированной книги В. Бурсова опять вполне можно отнести и к Солженицыну.

Как обнаружилось вскоре же после их дебютов, оба писателя работают очень много, чрезвычайно плодовиты и при этом обращаются к самым разным жанрам. Солженицын пишет о себе: «Обминул меня господь творческими кризисами». И впрямь обминул. Да не только кризисами, но, допустим, долгими раздумьями – также. Из-под его пера литературная продукция идет лавинным потоком: «Раковый корпус» – 25 листов! «В круге первом» – 35 листов!! «Архипелаг ГУЛАГ» – 70 листов!!! «Бодался теленок с дубом» – 50 листов!!! А там еще необъятное 10-томное «Красное колесо», огромный двухтомник «Двести лет вместе», еще повести, пьесы, рассказы, воспоминания, литературные портреты... Так плодовиты только гении да графоманы.

Некоторые исследователи решительно заявляют о Достоевском, что прототипом его героев чаще всего служил он сам. Другие говорят, что дело обстояло несколько иначе: великий романист не послужил прототипом ни для одного своего персонажа, но все, что он писал, в

<sup>26</sup> Ржезач Т., с. 190. Точнее, Ржезач пишет: «она из еврейской семьи» и ссылается на беседу с М.П. Якубовичем, в свое время видным лидером меньшевиков, членом их Союзного бюро. С ним Солженицын мог встречаться в заключении, а уже на свободе Якубович предоставил ему некоторые материалы исторического характера о событиях 1917 года, о чем, как видно из записки Ю. Андропова в ЦК от 6 июня 1975 года, позже он пожалел. Но как Якубович мог знать о национальности Светловой? Ржезач приводит его слова: «Солженицын обратил ее в православную веру. Она крестилась, а он стал ее крестным отцом» (с. 179). Из этого никак не следует, что она еврейка. Просто, будучи русской, она могла быть некрещеной, что для человека 1936 года рождения совсем не удивительно. Больше похоже на то, что так думал сам Ржезач, исходя из того, что имя матери Светлановой – Екатерина Фердинандовна. Но, разве Фердинанд уж такое шибко еврейское имя? Ну, Фердинанд Лассаль... Кто еще? В книге Эм. Бройтмана «Знаменитые евреи» (М., 2000) среди 180 имен я не сыскал ни одного Фердинанда. Имя далеко не всегда надежное средство для определения национальности. Был, например, в царской армии крупный военачальник генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов. И что, он еврей? А ныне на телевидении фигурирует Иван Дыховичный? И что, он русский? А что касается национальности Светлановой, то более достоверна тут, пожалуй, записка о ней Ю. Андропова в ЦК от 12 октября 1976 года, где она названа русской (Кремлевский самосуд. М., 1994. С. 552). Но, конечно, поскольку национальность у нас пишут в документах со слов, то она вполне могла считаться русской и в том случае, если даже ее мать была дочерью Фердинанда Лассалья (1825–1864). К тому же, можно заметить, что Лассаль был организатором и руководителем Всеобщего германского рабочего союза, а Светлана работала в Институте международного рабочего движения. Не пошла ли по стопам своего предка? – В. Б.

известном смысле было писанием о самом себе, т. е. как художник он в первую очередь «черпал из себя». Еще более охотно и обильно «черпает из себя» Солженицын. Так, даже при беглом чтении видно, что Глеб Нержин, главный герой романа «В круге первом», – это очень во многом сам автор. Обстоятельное сопоставление увело бы нас сейчас слишком далеко, но один выразительный штришок все же приведем. Нержин признается приятелю: «Живой жизни я не знал никогда, книгоед, каюсь...» В этом же каялся в письме к жене и создатель образа Нержина: «Вырастает тридцатилетний оболтус, прочитывает тысячи книг, а не может наточить топора или насадить молоток на рукоять».

Но вернемся к биографиям. Тут, пожалуй, интересней всего, как тот и другой держали себя в ситуациях нештатных.

## Фома Опискин и диалектика

Продолжим навязанное нам сопоставление... Б. Бурсов пишет: «Собственная натура пугала Достоевского. Он боялся и своего ума. Не только его громадности, но, я бы сказал, чрезмерной диалектичности, способной вывести противоположные заключения из одного и того же положения».

Солженицына собственная натура не пугает, наоборот, она ему весьма симпатична, хотя порой для порядка он может ее и пожуричь. Не страшит, не обременяет его и громадность дарованного ему интеллекта. Что же касается «чрезмерной диалектичности» мозговых извилин, способных у него не только к противоположным выводам из одного и того же факта, но и умеющих из черного делать белое, а из белого – черное, то эта «диалектичность» просто восхищает его, и он не без некоторой выгоды пользуется ею при каждом удобном случае.

Редкую способность своего ума, исследуемую здесь, Солженицын обнаруживает при подходе не только к тем фактам и явлениям, которые касаются его лично, но и к имеющим гораздо более широкое значение. Допустим, негодовал он по поводу того, что у нас не издавали некоторых писателей 20—30-х годов, но когда издавать начали, то его возмущало и это, он опять негодовал: журнал «Москва», опубликовавший не напечатанный в свое время роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», заклеил за эту публикацию мерзким словом «трупоед»<sup>27</sup>.

А однажды приключилась вот такая история. Александр Исаевич был всегда чрезвычайно внимателен к тому, что подают на стол. И довелось ему как-то присутствовать на заседании секретариата Правления Союза писателей СССР. Он принимал активнейшее участие в заседании (обсуждалось его собственное дело), но тем не менее аккуратно зафиксировал все, что было на столе: «фруктовые и минеральные воды, крепкий чай с дорогим рассыпчатым печеньем, сигареты и шоколадные трюфели»<sup>28</sup>, итого – шесть наименований. «Вот они, народные денежки!» – гневно воскликнул в душе народный заступник. Но в другой раз он отмечает, что в «Новом мире» в кабинет главного редактора подавали (и то не всегда!) лишь «чай с печеньем и сушками», и это была, по наблюдению беспощадного реалиста, «высшая форма новомирского гостеприимства». Казалось бы, последнему обстоятельству народный заступник должен радоваться: это ли не сбережение национального достояния! Но нет, заступник с равной искренностью, с одинаковой страстью осуждает и то и другое: лимонад и трюфели в Союзе писателей – это, по его убеждению, едва ли не подрыв военно-экономической мощи державы, а сушки «Нового мира» – воплощение редакционного скупердяйства<sup>29</sup>.

Оказавшись уже за границей, в 1975 году, в одном выступлении Солженицын уверял своих слушателей, что в нашей стране «нищенский уровень жизни». Но ведь раньше, негодуя по поводу того, что в тюрьмах и лагерях пища, возможно, действительно довольно проста (а с чего бы там угощать разносолами?), он гневно восклицал: «Это – сейчас, сегодня, когда ломаются наши продуктовые магазины!»<sup>30</sup>. Ну, так ли уж они ломились, наши магазины, это вопрос особый, нас-то интересует здесь все та же диалектичность ума, которая позволяет одно-

---

<sup>27</sup> «Теленок», с. 274.

<sup>28</sup> Там же, стр.187.

<sup>29</sup> Впрочем, у В. Лакшина, сотрудника тогдашнего «Нового мира», воспоминания на сей счет совсем иные: «...В кабинет вносили стаканы с чаем на подносе и мягкие свежие бублики, доставлявшиеся по просьбе Александра Трифоновича из голубого павильона с угла улицы Чехова и Садового кольца. Начиналось традиционное чаепитие» (Литературное обозрение, №6, 1981, с. 101). Уж не знаешь, кому и верить! Странно, однако, предположить, что с появлением в редакции Солженицына мягкие бублики из голубого павильона прятались в сейф, а извлекались оттуда сушки, специально для Александра Исаевича припасенные. Но не исключено, что работники журнала рассуждали так: «Он на шестьдесят рублей в месяц живет, к благородной пище не привык...» – В. Б.

<sup>30</sup> «Архипелаг», т. 3, с. 533–534.

временно твердить и о нищенском уровне страны, и о ее изобилии, правда, – в разных местах для разных слушателей.

Произнеся однажды длинную речь перед американцами, Солженицын закончил ее так: «Я сегодня, может быть, вмешался в ваши внутренние дела или как-то коснулся их, простите...»<sup>31</sup>. Просит прощения только за то, что коснулся. Какая деликатность! Да, наш герой решительно против вмешательства в дела других государств, особенно – против вмешательства нашей страны, например, в дела США. Об этом он заявлял неоднократно и чрезвычайно горячо. Но вот с какими заклинаниями обращался он в той же речи к американцам немного раньше: «Я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши (т. е. в советские. – В.Б.) внутренние дела... Мы просим вас – вмешивайтесь!...»<sup>32</sup> Такая диалектичность чрезвычайно похожа на дышло, о котором давно сказано: куда повернул, туда и вышло.

Много слов и сока своих нервов Солженицын потратил на то, чтобы доказать: служба государственной безопасности работает у нас нерасторопно, неквалифицированно, топорно. КГБ – это, мол, сборище неумех и недотеп. Допустим, мы ему поверили бы. Но в 1975 году американцы устроили у нас в стране выставку криминалистической техники. Ему не понравилось установление даже такого рода связей, и он принялся нашептывать всей Америке: «Надо знать ловкость КГБ: не то что две-три недели надо было стоять этой технике в советских помещениях под советской охраной, достаточно было двух-трех ночей, чтобы кегебисты все уже рассмотрели и перекодировали». Вот так недотепы! Да выходит, что ни сотрудник КГБ, то и знаменитый Левша: им американскую сверхсекретную штуkenцию в два счета скопировать, как тому аглицкую блоху подковать.

Ярчайший образец диалектичности Солженицын являет в рассуждении о тех, кто во время войны сотрудничал с оккупантами. Он квалифицирует это сотрудничество как «свободное владение своим телом и личностью»<sup>33</sup>. Да, одни отдавали свое «тело» и «личность», саму жизнь защите родины, а кое-кто в полном соответствии с диалектическим солженицынским представлением о правах человека – оккупантам. Свобода! Писатель особенно красноречив в оправдании и защите иных особ женского пола, у которых (увы, это случалось) сотрудничество доходило до постельного сожительства. Тут он даже взывает к великим духовным сокровищам человечества: «Да не вся ли мировая литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? от воли генералов и дипломатов?»<sup>34</sup>.

Какая интересная получается картина: немцы-то, фашистская-то солдатня, взламывая границы чужих государств, оказывается, освобождали при этом народы Европы от оков национальных разграничений, несли им на своих штыках свободу личности, свободу любви. Да уж не ради ли этих свобод, видя досадный недостаток их в других странах, и войну-то они развязали? Не для большей ли крепости утверждения сих ценностей прихватывали с собой душегубки, строили концлагеря, сооружали крематории? Истинно так! – утверждает Солженицын. Душегубки – это только подспорье свободы, только третьестепенная деталь оккупации, а главным-то были куртуазность захватчиков, тонкость их обхождения, деликатность воспитания. Ведь помянутые особы «были покорены» не чем иным, а – «любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток»<sup>35</sup>. Он готов извинить этих бедных «парней пятилеток», он даже проникся бы, возможно, симпатией к ним, если бы только не вели они себя так нелюбезно и негалантно

<sup>31</sup> Русская мысль, 17 июля 1975 г.

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> «Архипелаг», т.3, с.6.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> «Архипелаг», т.3, с.6.

по отношению к защитникам свободы любви, главным девизом которых было восклицание «Хенде хох!».

Нам уже неважно, а Солженицын все продолжает демонстрировать свою диалектичность, защищая тех же особ: «Кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях?.. Они воспитаны ПОСЛЕ Октября в советских школах и в советской идеологии! Так мы рассердились на плоды рук своих?»<sup>36</sup>. Следовательно, какую бы мерзость, какое бы преступление человек ни совершил, внушает нам диалектик, мы не вправе «сердиться» на него, если он учился когда-то в советской школе, ибо в этом случае перед нами не что иное, как «плод» наших собственных рук. И буржуазное общество тоже не имеет права сердиться на своих мерзавцев, ибо они, тамошние мерзавцы, опять же «плоды» не чьих-нибудь, а собственных рук. Допустим, осуждать Гитлера или Эйхмана какого-нибудь – за что? Ведь они всего-навсего «плоды»! Помнится, давным-давно у такого взгляда на мерзавцев всего мира были весьма горячие сторонники, но, к счастью, кажется, ни один из них не дожил до дней Нюрнбергского процесса.

Под этот эксгумационного происхождения взгляд, разумеется, полностью подпадает и сам Александр Исаевич: какое право имеем мы «сердиться» за все проделки его «тела» и «личности», какие могут быть с них взятки, если он родился через год с лишним после Октября, и бегал в советскую школу, и учился в советском вузе, и получал там Сталинскую стипендию, и был комсомольцем, и даже участвовал в драмкружке!

Вот, допустим, однажды в пору своего наибольшего успеха направился Солженицын в Институт изучения причин преступности. Цель при этом, очевидно, состояла в ознакомлении с работой данного учреждения, с ее результатами. обстоятельно побеседовал с заместителем директора. Все прекрасно. А потом произошло следующее: заместитель, уже провожая гостя по коридору, вдруг предложил ему зайти познакомиться к директору. Совершенно ясно, что побуждение тут было самое доброе: у директора визитер мог получить какие-то дополнительные важные сведения, расширить и углубить свое представление об интересующей проблеме и т. д. Как же диалектический ум Солженицына расценил этот несомненно добрый и любезный жест? А вот: «обманом завернул меня... Это посещение не планировалось! Мы уже все обговорили, зачем?»<sup>37</sup>. Словом, в его глазах добрый жест – обман, измена, коварная засада, и он уже едва не кричит «Караул!». Когда Солженицына выдворяли из страны, то в самолете до Франкфурта-на-Майне, естественно, его сопровождали какие-то должностные лица, человека два-три. Он смотрит на них с крайним подозрением, но убеждается, что в руках у них нет никакого оружия. Это его несколько успокаивает. «Я понимаю, что такое открытая ладонь, – скажет наш герой позже. – Откройте эту ладонь, и все увидят, что в ней нет камня». Так вот здесь он своими глазами видит, что ладонь открыта и что камня нет, но вскоре диалектический ум подсказывает совершенно иной взгляд на дело: «Да, руки у всех пусты, т. е. свободны»<sup>38</sup>, – свободны для действия, для расправы, и все остальные два часа полета до Франкфурта он напряженно ждет, что на него прямо тут, в самолете, кинутся эти люди со свободными руками, и жуткая расправа начнется. Ну, например, как Аркашку Счастливецца при переездах трупы в большой мороз, закатают в половик, который лежит вдоль всего салона, но не затем, чтобы по прибытии на место, как того Аркашку, откатать, а чтобы ловчее сбросить с высоты восьми тысяч метров где-нибудь над Эльбой или Майном. Это им просто! И еще объявят, что выпал, дескать, нобелиат в результате им же затеянной драки или попытки захватить самолет.

Чрезмерная диалектичность ума Солженицына наглядно обнаруживается и при более пристальном сопоставлении семейной жизни – женитьб, разводов, новых женитьб – его и

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> «Архипелаг», т. 3, с. 553.

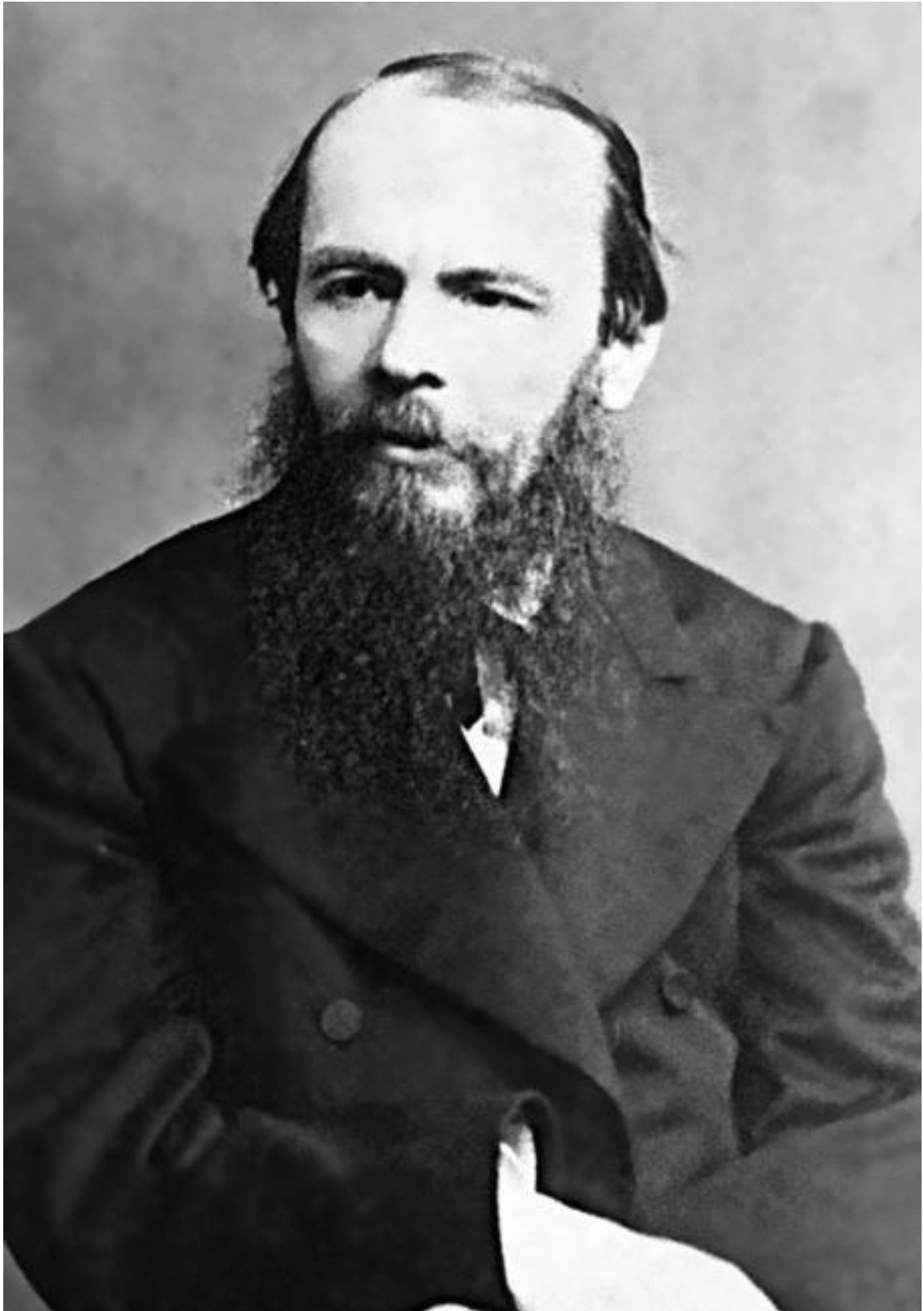
<sup>38</sup> «Теленок», с. 475.

Достоевского. Допустим, у того и другого были соперники, точнее говоря, люди, которые стояли на их пути и мешали или могли помешать им соединиться с избранницами. Через отношение к этим людям в обликах обоих приоткрывается нечто довольно существенное.

Когда весной 1854 года в Семипалатинске «солдат без выслуги» Достоевский влюбился в Марию Дмитриевну Исаеву, она была замужем. Ее муж, Александр Иванович, учитель, болел чахоткой и сильно пил. Достоевский видел, как страдают любимая женщина и ее малолетний сын, и не мог не желать какого-то разрешения их судьбы, освобождения в той или иной форме от горькой участи, виновником которой был слабый и больной человек. Но вот Александр Иванович умер. Это было разрешение. А кроме того, не просто умер соперник – рухнуло препятствие на пути к любимой. И как же отозвался на эту смерть Достоевский? Он писал в те дни А.В. Врангелю: «Вы не поверите, как мне жаль его, как я весь расстроен. Может быть, я только один из здешних и умел ценить его».

Для тех, кто усомнится в искренности приведенных слов Достоевского, судьба словно нарочно заготовила в его жизни еще один подобный искуc. Незадолго до смерти Исаев был переведен по службе в Кузнецк, и там, видимо, уже после его кончины, у молодой и обаятельной вдовы появился новый почитатель – Николай Борисович Вертунов, тоже учитель.

Вероятно, это оказалось довольно серьезной опасностью для чувств и намерений Достоевского, остававшегося в Семипалатинске, если он писал: «Я трепещу, чтобы она не вышла замуж...» Но наконец Мария Дмитриевна соглашается стать женой Достоевского. О, сколь многие из нас ощутили бы при этом не только радость, но и чувство превосходства над вчерашним соперником, презрение к нему, злорадство! Что же Достоевский? Он занят устройством соперника на службу, он умоляет того же Врангеля: «На коленях готов за него просить. Теперь он мне дороже брата родного, не грешно просить, он того стоит... Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь – подумайте и будьте мне братом родным». В результате Вергунов получил место. С полным основанием эти «заботливые хлопоты о своем сопернике» Врангель считал доказательством того, «какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича».



Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 1877 года.

*«Целый мир не стоит и одной слезы ребенка»  
(Федор Достоевский)*

Как же относился к своему сопернику Солженицын?

Напомним его семейную историю. Он женился на Н. Решетовской весной 1940 года, в конце апреля, а в середине октября 41-го его взяли в армию. Таким образом, их семейная жизнь не длилась непрерывно и полутора лет, а после этого потекли долгие годы разлуки, лишь иногда прерываемые краткими свиданиями. Н. Решетовская так описывает состояние своей души летом 1951 года, т. е. к исходу десятого года разлуки: «У моей двоюродной сестры Нади только-только родилась Мариночка, смешной такой несмышлениш... А Таниной Галке уже 6 лет, мотается на велосипеде... А у меня так никогда никого и не будет?..» Думается, эта грустная зависть вполне понятна в устах 33-летней соломенной вдовы. Как вполне понятно и то, что пишет она дальше: «Наше будущее с Саней казалось мне сверхдалеким... Он сам уже не воспринимался мной как живой человек во плоти и крови... Призрак... Скоро полтора года, как мы не виделись. Следующее письмо придет только осенью или зимой. Короткие открытки на имя тети Нины о получении посылок, будто отзвуки с другой планеты... Камин медленно угасал... Далекий любимый образ стал расплываться...

А когда я получила в Кисловодске письмо от В.С., то почувствовала, что получила письмо от реального человека...» Вдовец В.С., доцент-химик, настойчиво предлагал ей стать его женой. После сомнений и колебаний, весной 1952 года, т. е. на одиннадцатом году разлуки она наконец решилась и пишет об этом вполне честно: «Не буду себя ни оправдывать, ни винить. Я не смогла через все годы испытаний пронести свою «святость». Я стала жить реальной жизнью... Я написала Сане, что у меня есть семья и что это настоящее...»

Решетовская жила в Рязани. Истекал 15-й год их фактической разлуки; решение молодой полной сил женщины после долгих лет одиночества разорвать наконец его мертвящий круг по-человечески так понятно; судя по фактам, которые она сообщает, новый муж любил ее, и она была довольна своей надежной, прочной семьей; эта новая семейная жизнь длилась уже пятый год; наконец, у нового мужа было двое малых детей, с которыми у Решетовской наладились самые добрые отношения, и она им в известной мере заменяла умершую мать.

И вот, несмотря на все это, Солженицын предпринимает решительные, энергичные и сильнодействующие меры с целью вернуть бывшую жену, точнее – с целью вернуться к ней. В ход идет все: и письма с чувствительными воспоминаниями о прошлом, и подстроенные общими знакомыми неожиданные для нее тайные встречи в Москве, и стихи собственного сочинения:

Вечерний снег, вечерний снег  
Напоминает мне бульвар,  
Твой воротник, твой звонкий смех,  
Снежинок блеск, дыханья пар...<sup>39</sup>

Н. Решетовская – образованный, эстетически воспитанный человек, талантливая музыкантша, но – она и женщина. Только последним обстоятельством можно объяснить, что такого рода стихи, как видно, и сыграли здесь решающую роль. Много лет спустя она скажет: «Свидание с Саней и его стихи разбередили мне душу»<sup>40</sup>. Дальше дело пошло проще и до того успешно, что месяца через три-четыре после первого свидания и стихов совместная жизнь Решетовской с В.С. оказалась разрушенной, а еще через месяц-полтора Солженицын уже был хозяином в ее доме в декабре 1956 года.

<sup>39</sup> Решетовская Н., с. 138.

<sup>40</sup> Мы не будем в дальнейшем злоупотреблять цитированием стихов Солженицына. Уж пусть читатель поверит, что мы его не обкрадываем, не лишаем бесценных эстетических сокровищ. Даже о тех стихах, которые автор пытался опубликовать в «Новом мире», В. Лакшин вспоминает так: «Стихи свои Солженицын давал Твардовскому лично и, так сказать, «домашним способом», и тот браковал их в одиночку: «Этого вам даже читать не надо», – говорил он мне» («XX век», с. 176) – В. Б.).



Чем объяснить такое страстное стремление нашего героя во что бы то ни стало вернуться к прежней жене? Сам он объясняет возвращение в 20-х годах на родину Максима Горького голой корыстью: оказавшись, мол, за границей, он «с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем – и денег. Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз» («Архипелаг», т. 2, с. 62.). Доказательств такого объяснения не приводится, их нет, а возможность того, что писатель вернулся на родину из простой и вековой у людей любви к ней, автор исключает.

Удивительный человек! Конструируя подобного рода обвинительные сооружения, он почему-то никогда не может сообразить, что ведь тем самым дает право другим использовать эти методы конструирования против него. Действительно, если он отказывает большому писателю в таком основополагающем, свойственном в той или иной мере едва ли не всем чувстве, как любовь к родине, «к отеческим гробам», то почему бы и нам не допустить, что столь частное и личное, хрупкое и прихотливое чувство, как любовь к определенной женщине, за полтора десятилетия разлуки угасло, испарилось, умерло? Если он заявляет, что Максимом Горьким в его решении вернуться руководила не любовь, а корысть, то отчего и нам не высказать предположение, что он вернулся к жене не из любви, а по расчету? Тем более что у него-то нет никаких доказательств – ни прямых, ни косвенных, ни лирических, ни психологических, а у нас кое-что наводящее на сомнение имеется: и длительность разлуки с Решетовской; и имевшие место его попытки жениться на других женщинах; и то, что жил он в ту пору довольно трудно, получая небольшую учительскую зарплату, снимал угол у хозяйки в глухой владимирской деревне, а бывшая жена – кандидат наук, доцент, заведует кафедрой в областном городе недалеко от Москвы, получает около четырехсот рублей, живет в двухкомнатной квартире, – это все и теперь, право же, очень неплохо, а уж в 1956-го году было до ужаса соблазнительно. Особенно, конечно, для человека, только что вернувшегося к нормальной жизни после долгих лет лагерей и ссылки, а сверх того – решившего посвятить себя литературному труду, требующему времени, покоя и благоприятных условий быта.

Да, все это мы могли бы допустить, все это имеем право предположить, но... ведь нас интересует здесь другое: как отнесся победитель к поверженному сопернику, принужденному расстаться с любимой женщиной, с дорогим для него домом, с уже давно привычным укладом жизни и почти в пятьдесят лет вернуться на холостую стезю с двумя мальчиками-сыновьями? Кстати, Солженицын был на десять лет моложе своего соперника, а Достоевский – на десять лет старше. Но тут возникает еще и особое обстоятельство: Решетовская пишет, что, добившись ее согласия на возобновление совместной жизни, «Саня считал своим долгом еще и еще предостеречь меня, на что я иду. Ведь он серьезно и безнадежно болен, обречен на недолгую жизнь. Ну год, ну два...»<sup>41</sup>. Вот ведь как: разоряя дотла чужое семейное гнездо, Солженицын предполагал просидеть на его развалинах не более двух лет! Уже одно это, казалось, должно было породить сознание великой вины перед изгнанным соперником. Увы, ничего подобного не произошло. Солженицын не только не испытывал никакой вины перед ним, но и назвал его «негодяем», ибо он, мол, «соблазнял к женитьбе жену живого мужа»<sup>42</sup>. Решетовская заметила по этому поводу: «А позже сам не остановится перед тем, чтобы при живой жене соблазнять женитьбой другую женщину...»<sup>43</sup>.

И еще до этого был случай, когда Солженицын признался жене, что полюбил другую женщину и находится в известных отношениях с ней. Жена ответила так, как в ее положении ответили бы многие: если чувство столь велико и необоримо, то забирай свои пожитки и отправляйся к новой возлюбленной; а если это всего лишь интрижка, то зачем о ней рассказывать?

<sup>41</sup> Решетовская Н., с. 141.

<sup>42</sup> Там же, с. 120.

<sup>43</sup> Решетовская Н., с. 204.

Александр Исаевич был глубоко оскорблен таким ответом, он заявил, что его не за что иное, а лишь «за правду гонят из дома»<sup>44</sup>. Диалектический ум позволял ему без особого труда назвать человека, которого сам сделал несчастным, – негодяем, свою прямую измену жене – правдой, а закономерный на это ответ жены, продиктованный чувством собственного достоинства, представить гонением на горемычного правдолюбца. Ах, как все это похоже на поведение Фомы Фомича Опискина у Достоевского!.. Фома тоже уверял, что его гонят за правду.

---

<sup>44</sup> Там же.

## И жизнь, и любовь, и смерть – по плану!

Достоевский, как уже говорилось: человек страсти, порыва. В его жизни было немало странных внезапных поступков. А у Солженицына все заранее обдуманно, взвешено, все спланировано наперед. Почти всегда его жизнь – это «сеть замыслов, расчетов, ходов»<sup>45</sup>. Рассказывая о себе, он то и дело отмечает: «Мой план был такой»<sup>46</sup>, «У меня зародился новый план... Этот планчик застал Твардовского врасплох»<sup>47</sup> и т. д.

В студенческие годы по разным дисциплинам, которые изучал в университете, Солженицын делал бесчисленные выписки, систематизировал их, составлял картотеки. И уже это было, конечно, не чем иным, как одним из проявлений склонности к планированию. В зрелую пору он расписал по карточкам всю огромную книгу Даля «Пословицы русского народа». Н. Решетовская вспоминает: «Чтение, разметка, выписывание, переклассификация... Я перепечатывала пословицы на машинке. Муж мечтал иметь дома вазу, наполненную карточками с пословицами, чтобы их вынимать, перебирать». Голубая мечта зубрили! В рязанскую пору своей жизни, впервые задумав поехать в Ленинград, Солженицын долго работал над большой картотекой по истории, художественным достопримечательностям и некоторым особенно интересным маршрутам города. За несколько месяцев до поездки даже выписал в Рязань «Ленинградскую правду», чтобы быть в курсе городских новостей. И такая же обстоятельная запланированность предшествовала поездкам на Байкал, в Прибалтику и другим путешествиям, которых было много.

Тщательно (и небезуспешно!) старался он спланировать свой литературный дебют, в частности, его момент: «Нельзя было ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!»<sup>48</sup>.

Позже в театре «Современник» готовилась пьеса Солженицына «Олень и шалашовка», а в «Новом мире» вот-вот должны были появиться его новые рассказы. Страшновато: вдруг спектакль после первого же представления прихлопнут? Ведь говорил сам Твардовский, что если бы от него лично за висело, то он бы эту пьесу запретил. И что, если запрет спектакля пагубно скажется на судьбе рассказов? Испугавшись такой перспективы, автор взял в руки карандаш и начал подсчитывать: «Тираж «Нового мира» – сто тысяч. А в зале «Современника» помещается только семьсот человек...»  $100\,000 - 700 = 99\,300$ . И он делает выбор в пользу журнала<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> «Теленок», с. 113.

<sup>46</sup> Там же, с. 201.

<sup>47</sup> Там же, с. 197.

<sup>48</sup> «Теленок», с. 20.

<sup>49</sup> Спектакль действительно не появился, а рассказы благополучно опубликованы. – В. Б.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.